

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Пошехонская старина



Михаил Салтыков-Щедрин

Пошехонская старина

«Public Domain»

1888

Салтыков-Щедрин М. Е.

Пошехонская старина / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1888

«Пошехонская старина» – последнее произведение великого русского писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина – представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи. По словам самого Салтыкова, его задачей было восстановление «характеристических черт» жизни помещичьей усадьбы эпохи крепостного права.

Содержание

Введение	5
I. Гнездо	7
II. Мое рождение и раннее детство	12
III. Воспитание нравственное	18
IV. День в помещичьей усадьбе	26
V. Первые шаги на пути к просвещению	41
VI. Дети. По поводу предыдущего	49
VII. Портретная галерея. Тетеньки-сестрицы	55
VIII. Тетенька Анфиса Порфирьевна	67
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Пошехонская старина

Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина¹

Введение

Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к старинному пошехонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смиренные и уклончивые. В пограничных городах и крепостях не сидели, побед и одолений не одерживали, кресты целовали по чистой совести, кому прикажут, беспрекословно. Вообще не покрыли себя ни славою, ни позором. Но зато ни один из них не был бит кнутом, ни одному не выщипали по волоску бороды, не урезали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящие поместные дворяне, которые забились в самую глушь Пошехонья, без шума собирали дани с кабальных людей и скромно плодились. Иногда их распложалось множество, и они становились в ряды захудалых; но по временам словно мор настигал Затрапезных, и в руках одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредоточивались имения и маетности остальных. Тогда Затрапезные вновь расцветали и играли в своем месте видную роль.

Дед мой, гвардии сержант Порфирий Затрапезный, был одним из взысканных фортуною и владел значительными поместьями. Но так как от него родилось много детей – сын и девять дочерей, то отец мой, Василий Порфирыч, за выделом сестер, вновь спустился на степень дворянина средней руки. Это заставило его подумать о выгодном браке, и, будучи уже сорока лет, он женился на пятнадцатилетней купеческой дочери, Анне Павловне Глуховой, в чаянии получить за нею богатое приданое.

Но расчет на богатое приданое не оправдался: по купеческому обыкновению, его обманули, а он, в свою очередь, выказал при этом непростительную слабость характера. Напрасно сестры уговаривали его не ехать в церковь для венчания, покуда не отдадут договоренной суммы полностью; он доверился лживым обещаниям и обвенчался. Вышел так называемый неравный брак, который впоследствии сделался источником бесконечных укоров и семейных сцен самого грубого свойства.

Брак этот был неровен во всех отношениях. Отец был, по тогдашнему времени, порядочно образован; мать – круглая невежда; отец вовсе не имел практического смысла и любил разводить на бобах, мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух не загадывала, а действовала молча и наверняка; наконец, отец женился уже почти стариком и притом никогда не обладал хорошим здоровьем, тогда как мать долгое время сохраняла свежесть, силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться при таких условиях совместное житье.

Тем не менее, благодаря необыкновенным приобретательным способностям матери, семья наша начала быстро богатеть, так что в ту минуту, когда я увидел свет, Затрапезные считались чуть не самыми богатыми помещиками в нашей местности. О матери моей все соседи в один голос говорили, что Бог послал в ней Василию Порфирычу не жену, а клад. Сам отец, видя возрастание семейного благосостояния, примирился с неудачным браком, и хотя жил с женой несогласно, но в конце концов вполне подчинился ей. Я, по крайней мере, не помню, чтоб он когда-нибудь в чем-нибудь проявил в доме свою самостоятельность.

Затем, приступая к пересказу моего прошлого, я считаю нелишним предупредить читателя, что в настоящем труде он не найдет сплошного изложения *всех* событий моего жития,

а только ряд эпизодов, имеющих между собою связь, но в то же время представляющих и отдельное целое. Главным образом я предпринял мой труд для того, чтоб восстановить характеристические черты так называемого доброго старого времени, память о котором, благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше сглаживается. Поэтому я и в форме ведения моего рассказа не намерен стесняться. Иногда буду вести его лично от себя, иногда – в третьем лице, как будет для меня удобнее.

І. Гнездо

Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара крепостного права. Оно проникало не только в отношения между помещичьим дворянством и подневольною массою – к ним, в тесном смысле, и прилагался этот термин, – но и во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия (привилегированные и непривилегированные) в омут униженного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным. С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний поруганного и ниоткуда не защищенного существования? – и, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили! И, что еще удивительнее: об руку с этим сплошным мучительством шло и так называемое пошехонское «раздолье», к которому и поныне не без тихой грусти обращают свои взоры старички. И крепостное право, и пошехонское раздолье были связаны такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то вслед за ним в судорогах покончило свое постыдное существование и другое. И то и другое одновременно заколотили в гроб и снесли на погост, а какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могиле – это вопрос особый. Говорят, однако ж, что выросло нечто не особенно важное.

Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня и что, несмотря на изменившиеся формы общественных отношений, сущность их остается нетронутою. Конечно, свидетели и современники старых порядков могут, до известной степени, и в одном упразднении форм усматривать существенный прогресс, но молодые поколения, видя, что исконные жизненные основы стоят по-прежнему неизменно, нелегко примиряются с одним изменением форм и обнаруживают нетерпение, которое получает тем более мучительный характер, что в него уже в значительной мере входит элемент сознательности...

Местность, в которой я родился и в которой протекло мое детство, даже в захолустной пошехонской стороне, считалась захолустьем. Как будто она самой природой предназначена была для мистерий крепостного права. Совсем где-то в углу, среди болот и лесов, вследствие чего жители ее, по-простонародному, назывались «заугольниками» и «лягушатниками». Тем не меньше по части помещиков и здесь было людно (селений, в которых жили так называемые экономические крестьяне, почти совсем не было). Исстари более сильные люди захватывали местности по берегам больших рек, куда их влекла ценность угодий: лесов, лугов и проч. Мелкая сошка забивалась в глушь, где природа представляла, относительно, очень мало льгот, но зато никакой глаз туда не заглядывал, и, следовательно, крепостные мистерии могли совершаться вполне беспрепятственно. Мужичья спина с избытком вознаграждала за отсутствие ценных угодий. Во все стороны от нашей усадьбы было разбросано достаточное количество дворянских гнезд, и в некоторых из них, отдельными подгнездками, ютилось по несколько помещичьих семей. Это были семьи, по преимуществу, захудалые, и потому около них замечалось особенное крепостное оживление. Часто четыре-пять мелкопоместных усадеб стояли обок или через дорогу; поэтому круговое посещение соседей соседями вошло почти в ежедневный обиход. Появилось раздолье, хлебосолецтво, веселая жизнь. Каждый день где-нибудь гости, а где гости – там вино, песни, угощенье. На все это требовались ежели не деньги, то даровой припас. Поэтому, ради удовлетворения целям раздолья, неустанно выжимался последний мужичий сок, и мужики, разумеется, не сидели сложа руки, а кишели, как муравьи, в окрестных полях. Вследствие этого оживлялся и сельский пейзаж.

Равнина, покрытая хвойным лесом и болотами, – таков был общий вид нашего захолустья. Всякий сколько-нибудь предусмотрительный помещик-абориген захватил столько земли, что не в состоянии был ее обработать всю, несмотря на крайнюю растяжимость крепостного

труда. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары; деревни ютились около самых помещичьих усадеб, а особняком проскакивали редко на расстоянии пяти-шести верст друг от друга. Только около мелких усадеб прорывались светленькие прогалины, только тут *всю* землю старались обработать под пашню и луга. Зато непосильною барщиной мелкопоместный крестьянин до того изнурялся, что даже по наружному виду можно было сразу отличить его в толпе других крестьян. Он был и испуганнее, и тощее, и слабосильнее, и малорослее. Одним словом, в общей массе измученных людей был самым измученным. У многих мелкопоместных мужик работал на себя только по праздникам, а в будни – в ночное время. Так что летняя страда этих людей просто-напросто превращалась в сплошную каторгу.

Леса, как я уже сказал выше, стояли нетронутыми, и лишь у немногих помещиков представляли не то чтобы доходную статью, а скорее средство добыть большую сумму денег (этот порядок вещей, впрочем, сохранился и доселе). Вблизи от нашей усадьбы было устроено два стеклянных завода, которые, в немного лет, без толку истребили громадную площадь лесов. Но на болота никто еще не простирал алчной руки, и они тянулись без перерыва на многие десятки верст. Зимой по ним пролагали дороги, а летом объезжали, что удлиняло расстояния почти вдвое. А так как, несмотря на объезды, все-таки приходилось захватить хоть краешек болота, то в таких местах настигались бесконечные мостовники, память о которых не изгладилась во мне и доднесь. В самое жаркое лето воздух был насыщен влажными испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покою ни людям, ни скотине.

Текучей воды было мало. Только одна река Перла, да и та неважная, и еще две речонки: Юла и Вопля.² Последние еле-еле брели среди топких болот, по местам образуя стоячие бочаги, а по местам и совсем пропадая под густой пеленой водяной заросли. Там и сям виднелись небольшие озерки, в которых водилась немудреная рыбешка, но к которым в летнее время невозможно было ни подъехать, ни подойти.

По вечерам над болотами поднимался густой туман, который всю окрестность окутывал сизою, клубящеюся пеленой. Однако ж на вредное влияние болотных испарений, в гигиеническом отношении, никто не жаловался, да и вообще, сколько мне помнится, повальные болезни в нашем краю составляли редкое исключение.

И леса и болота изобиловали птицей и зверем, но по части ружейной охоты было скудно, и тонкой красной дичи, вроде вальдшнепов и дупелей, я положительно не припомню. Помню только больших кряковых уток, которыми от времени до времени, чуть не задаром, оделял всю округу единственный в этой местности ружейный охотник, экономический крестьянин Лука. Псовых охотников (конечно, помещиков), впрочем, было достаточно, и так как от охоты этого рода очень часто страдали озими, то они служили источником непрерывных раздоров и даже тяжб между соседями.

Помещичьи усадьбы того времени (я говорю о помещиках средней руки) не отличались ни изяществом, ни удобствами. Обыкновенно они устраивались среди деревни, чтоб было сподручнее наблюдать за крестьянами; сверх того, место для постройки выбиралось непременно в лощинке, чтоб было теплее зимой. Дома почти у всех были одного типа: одноэтажные, продолговатые, на манер длинных комодов; ни стены, ни крыши не красились, окна имели старинную форму, при которой нижние рамы поднимались вверх и подпирались подставками. В шести-семи комнатах такого четырехугольника, с колеблющимися полами и нештукатуренными стенами, ютилась дворянская семья, иногда очень многочисленная, с целым штатом дворовых людей, преимущественно девок, и с наезжавшими от времени до времени гостями. О парках и садах не было и в помине; впереди дома раскидывался крохотный палисадник, обсаженный стриженными акациями и наполненный, по части цветов, барскою спесью, царскими

² Само собой разумеется, названия эти вымышленные.

кудрями и буро-желтыми бураками. Сбоку, поближе к скотным дворам, выкапывался небольшой пруд, который служил скотским водоемом и поражал своей неопрятностью и вонью. Сзади дома устраивался незатейливый огород с ягодными кустами и наиболее ценными овощами: репой, русскими бобами, сахарным горохом и проч., которые, еще на моей памяти, подавались в небогатых домах после обеда в виде десерта. Разумеется, у помещиков более зажиточных (между прочим, и у нас) усадьбы были обширнее, но общий тип для всех существовал один и тот же. Не о красоте, не о комфорте и даже не о просторе тогда думали, а о том, чтоб иметь теплый угол и в нем достаточную степень сытости.

Только одна усадьба сохранилась в моей памяти как исключение из общего правила. Она стояла на высоком берегу реки Перлы, и из большого каменного господского дома, утопавшего в зелени обширного парка, открывался единственный в нашем захолустье красивый вид на поёмные луга и на дальние села. Владелец этой усадьбы (называлась она, как и следует, «Отрадой») был выродившийся и совсем расслабленный представитель старинного барского рода, который по зимам жил в Москве, а на лето приезжал в усадьбу, но с соседями не яхшался (таково уж исконное свойство пошехонского дворянства, что бедный дворянин от богатого никогда ничего не видит, кроме пренебрежения и притеснения). Об отрадинских цветниках, оранжереях и прочей роскоши ходили между обитателями нашего захолустья почти фантастические рассказы. Были там пруды с каскадами, гротами и чугунными мостами, были беседки с гипсовыми статуями, был конский завод с манежем и обширным обгороженным кругом, на котором происходили скачки и бега, был свой театр, оркестр, певчие. И всем этим выродившийся аристократ пользовался сам-друг с второстепенной французской актрисой, Селиной Архиповной Бульмиш, которая особенных талантов по драматической части не предъявила, по зато безошибочно могла отличить *la grande cochoonnerie* от *la petite cochoonnerie*.³ Сам-друг с нею, он слушал домашнюю музыку, созерцал лошадиную случку, наслаждался конскими ристалищами, ел фрукты и нюхал цветы. С течением времени он женился на Селине, и, по смерти его, имение перешло к ней.

Не знаю, жива ли она теперь, но после смерти мужа она долгое время каждое лето появлялась в Отраде в сопровождении француза с крутыми бедрами и дугообразными, словно писаными бровями. Жила она, как и при покойном муже, изолированно, с соседями не знакомилась и преимущественно занималась тем, что придумывала вместе с крутобедрым французом какую-нибудь новую еду, которую они и проглатывали с глазу на глаз. Но и ее, и крутобедрого француза крестьяне любили за то, что они вели себя по-дворянски. Не шильничали, сами по грибы в лес не ходили, а другим собирать в своих лесах не препятствовали. И на деньги были чивы, за все платили без торга; принесут им лукошко ягод или грибов, спросят двугривенный – слова не скажут, отдадут, точно двугривенный и не деньги. А девке так и ленту, сверх того, подарят. И когда объявлено было крестьянское освобождение, то и с уставной грамотой Селина первая в уезде покончила, без жалоб, без гвалта, без судоворонений: что следует отдала, да и себя не обидела. Дворовых тоже не забыла: молодых распустила, не выжидая срока, старикам – выстроила избы, отвела огороды и назначила пенсию.

В сентябре, с отъездом господ, соседние помещики наезжали в Отраду и за ничтожную мзду садовнику и его подручным запасались там семенами, корнями и прививками. Таким образом появились в нашем уезде первые георгины, штокрозы и проч., а матушка даже некоторые куртины в нашем саду распланировала на манер отрадинских.

Что касается до усадьбы, в которой я родился и почти безвыездно прожил до десятилетнего возраста (называлась она «Малиновец»), то она, не отличаясь ни красотой, ни удобствами, уже представляла некоторые претензии на то и другое. Господский дом был трехэтажный (третьим этажом считался большой мезонин), просторный и теплый. В нижнем этаже, каменном,

³ большой разврат от маленького (*фр.*).

помещались мастерские, кладовые и некоторые дворовые семьи; остальные два этажа занимала господская семья и комнатная прислуга, которой было множество. Кроме того, было несколько флигелей, в которых помещались застольная, приказчик, ключник, кучера, садовники и другая прислуга, которая в горницах не служила. При доме был разбит большой сад, вдоль и поперек разделенный дорожками на равные куртинки, в которых были насажены вишневые деревья. Дорожки были окаймлены кустами мелкой сирени и цветочными рабатками, наполненными большим количеством роз, из которых гнали воду и варили варенье. Так как в то время существовала мода подстригать деревья (мода эта проникла в Пошехонье... из Версаля!), то тени в саду почти не существовало, и весь он раскинулся на солнечном припеке, так что и гулять в нем охоты не было.

Еще в большем размере были разведены огороды и фруктовый сад с оранжереями, теплицами и грунтовыми сараями. Обилие фруктов и в особенности ягод было такое, что с конца июня до половины августа господский дом положительно превращался в фабрику, в которой с утра до вечера производилась ягодная эксплуатация. Даже в парадных комнатах все столы были нагружены ворохами ягод, вокруг которых сидели группами сенные девушки, чистили, отбирали ягоду по сортам, и едва успевали справиться с одной грудой, как на смену ей появлялась другая. Нынче одна эта операция стоила бы больших денег. В это же время в тени громадной старой липы, под личным надзором матушки, на разложенных в виде четырехугольников кирпичках, варилось варенье, для которого выбиралась самая лучшая ягода и самый крупный фрукт. Остальное утилизировалось для наливок, настоек, водиц и проч. Замечательно, что в свежем виде ягоды и фрукты даже господами употреблялись умеренно, как будто опасались, что вот-вот неостанет впрок. А «хамкам» и совсем ничего не давали (я помню, как матушка беспокоилась во время сбора ягод, что вот-вот подянки ее объедят); разве уж когда, что называется, ягоде обору нет, но и тут непременно дождутся, что она от долговременного стояния на погребке начнет плесневеть. Эта масса лакомства привлекала в комнаты такие несметные полчища мух, что они положительно отравляли существование.

Для чего требовалась такая масса заготовок – этого я никогда не мог понять. Можно назвать это явление особым термином: «алчностью будущего». Благодаря ей хоть целая гора съедобного материала лежит перед глазами человека, а все ему кажется мало. Утроба человеческая ограничена, а жадное воображение приписывает ей размеры несокрушимые, и в то же время рисует в будущем грозные перспективы. В самом расходовании заготовленных припасов в течение года наблюдалась экономия, почти скупость. Думалось, что хотя «час» еще и не наступил, но непременно наступит, и тогда разверзнется таинственная прорва, в которую придется валить, валить и валить. От времени до времени производилась ревизия погребов и кладовых, и всегда оказывалось порченого запаса почти наполовину. Но даже и это не убеждало: жаль было и испорченного. Его подваривали, подправляли и только уже совсем негодное решались отдать в застольную, где после такой подачи несколько дней сряду «валялись животами». Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное.

И вот, когда все было наварено, насолено, настояно и наквашено, когда вдобавок к летнему запасу присоединился запас мороженой домашней птицы, когда болота застывали и устанавливался санный путь – тогда начиналось пошехонское раздолье, то раздолье, о котором нынче знают только по устным преданиям и рассказам.

К этому предмету я возвращусь впоследствии, а теперь познакомлю читателя с первыми шагами моими на жизненном пути и той обстановкой, которая делала из нашего дома нечто типичное. Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства (в отличие от дворянства служебного, кочующего) и видевших описываемые времена, найдут в моем рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской жизни был везде одинаков, и разницу обуславливали лишь некоторые частные особенности, зависевшие от интимных качеств тех или других личностей. Но и

тут главное отличие заключалось в том, что одни жили «в свое удовольствие», то есть слаще ели, буйнее пили и проводили время в безусловной праздности; другие, напротив, сжимались, ели с осторожностью, усчитывали себя, ухичивали, скопидомствовали. Первые обыкновенно страдали тоской по предводительстве, достигнув которого разорялись в прах; вторые держались в стороне от почестей, подстерегали разорявшихся, издали опутывая их, и, при помощи темных оборотов, оказывались в конце концов людьми не только состоятельными, но даже богатыми.

II. Мое рождение и раннее детство

Воспитание физическое

Родился я, судя по рассказам, самым обыкновенным пошехонским образом. В то время барыни наши (по-нынешнему, представительницы правящих классов) не ездили, в предвидении родов, ни в столицы, ни даже в губернские города, а довольствовались местными, подручными средствами. При помощи этих средств увидели свет все мои братья и сестры; не составил исключения и я.

Недели за три перед тем, как матушке приходилось родить, послали в город за бабушкой-повитухой, Ульяной Ивановной, которая привезла с собой мыльца от раки преподобного (в городском соборе почивали мощи) да банку моренковской мази. В этом состоял весь ее родовспомогательный снаряд, ежели не считать усердия, опытности и «легкой руки». В крайнем случае во время родов отворяли в церкви царские двери, а дом несколько раз обходили кругом с иконой. Помощь Ульяны Ивановны обходилась баснословно дешево. А именно: все время, покуда она жила в доме (иногда месяца два-три), ее кормили и поили за барским столом; кровать ее ставили в той же комнате, где спала роженица, и, следовательно, ее кровью питали приписанных к этой комнате клопов; затем, по благополучном разрешении, ей уплачивали деньгами десять рублей на ассигнации и посылали зимой в ее городской дом воз или два разной провизии, разумеется, со всячинкой. Иногда, сверх того, отпускали к ней на полгода или на год в безвозмездное услужение дворовую девку, которую она, впрочем, обязана была, в течение этого времени, кормить, поить, обувать и одевать на собственный счет.

Тем не менее, когда в ней больше уж не нуждались, то и этот ничтожный расход не проходил ей даром. Так, по крайней мере, практиковалось в нашем доме. Обыкновенно ее называли «подлянкой и прорвой», до следующих родов, когда она вновь превращалась в «голубушку Ульяну Ивановну».

– Это ты подлянке индюшек-то послать собралась? – негодовала матушка на ключницу, видя приготовленных к отправке в сених пару или две замороженных индеек, – будет с нее, и старыми курами прорву себе заткнет.

Добрая была эта Ульяна Ивановна, бойкая, веселая, словоохотливая. И хоть я узнал ее, уже будучи осьми лет, когда родные мои были с ней в ссоре (думали, что услуг от нее не требуется), но она так тепло меня приласкала и так приветливо назвала умницей и погладила по головке, что я невольно расчувствовался. В нашем семействе не было в обычае по головке гладить, – может быть, поэтому ласка чужого человека так живо на меня и подействовала. И не на меня одного она производила приятное впечатление, а на всех восемь наших девушек – по числу матушкиных родов – бывших у нее в услужении. Все они отзывались об ней с восторгом и возвращались тучные (одна даже с приплодом). Щи у нее ели такие, что не продуешь, в кашу лили масло коровье, а не льняное. Называла она всех именами ласкательными, а не ругательными и никогда ни на кого господам не пожаловалась.

Жила она в собственном ветхом домике на краю города, одиноко, и питалась плодами своей профессии. Был у нее и муж, но в то время, как я зазнал ее, он уж лет десять как пропал без вести. Впрочем, кажется, она знала, что он куда-то услан, и по этому случаю в каждый большой праздник возила в тюрьму калачи.

– Благой у меня был муж, – говорила она, – не было промеж нас согласия. Портным ремеслом занимался и хорошие деньги зарабатывал, а в дом копеечки щербатой никогда не принес – всё в кабак. Были у нас и дети, да так и перемерли ангельские душеньки, и всё не настоящей смертью, а либо с лавки свалится, либо кипятком себя ошпарит. Мое дело такое, что все в уезде да в уезде, а муж – день в кабаке, ночь – либо в канаве, либо на съезжей. Прислуга

тоже с бору да с сосенки. Присмотреть-то за деточками и некому. А наконец, возвращаюсь я однажды с родов домой, а меня прислуга встречает: «Ведь Прохор-то Семеныч – это муж-то мой! – уж с неделю дома не бывал!» Не бывал да не бывал, да так с тех пор словно в воду и канул. Осталась я одна – поначалу жутко сделалось; думаю: ну, теперь пропала! А вышло, напротив того, еще лучше прежнего зажила.

И вот как раз в такое время, когда в нашем доме за Ульяной Ивановной окончательно утвердилась кличка «подянки», матушка (она уж лет пять не рожала), сверх ожидания, сделалась в девятый раз тяжела, и так как годы ее были уже серьезные, то она задумала ехать родить в Москву. Пришлось звать Ульяну Ивановну для сопровождения. Послали в город меня – тут-то я с нею и познакомился. И добрая женщина не только не попомнила зла, но когда, по приезде в Москву, был призван ученый акушер и явился «с щипцами, ножами и долотами», то Ульяна Ивановна просто не допустила его до роженицы и с помощью мыльца в девятый раз вызволила свою пациентку и поставила на ноги. Но эта услуга обошлась уж родным моим «в копейку». Повитушке, вместо красной, дали беленькую деньгами да один воз провизии послали по первопутке, а другой к Масленице. А девка в услужение – сама по себе.

Итак, появление мое на свет обошлось дешево и благополучно. Столь же благополучно совершилось и крещение. В это время у нас в доме гостил мещанин – богомол Дмитрий Никоныч Бархатов, которого в уезде считали за прозорливого.

Между прочим, и по моему поводу, на вопрос матушки, что у нее родится, сын или дочь, он запел петухом и сказал: «Петушок, петушок, востёр ноготок!» А когда его спросили, скоро ли совершатся роды, то он начал черпать ложечкой мед – дело было за чаем, который он пил с медом, потому что сахар скоромный – и, остановившись на седьмой ложке, молвил: «Вот теперь в самый раз!» «Так по его и случилось: как раз на седьмой день маменька распроталась», – рассказывала мне впоследствии Ульяна Ивановна. Кроме того, он предсказал и будущую судьбу мою, – что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником. Вследствие этого, когда матушка бывала на меня сердита, то, давая шлепка, всегда приговаривала: «А вот я тебя высеку, супостатов покоритель!»

Вот этого-то Дмитрия Никоныча и пригласили быть моим восприемником вместе с одною из тетенок-сестриц, о которых речь будет впереди.

Кстати скажу: не раз я видал впоследствии моего крестного отца, идущего, с посохом в руках, в толпе народа, за крестным ходом. Он одевался в своеобразный костюм, вроде поповского подрясника, подпоясывался широким, вышитым шерстяными поясом и ходил с распущенными по плечам волосами. Но познакомиться мне с ним не удалось, потому что родители мои уже разошлись с ним и называли его шалыганом. Вообще, по мере того как семейство мое богатело, старые фавориты незаметно исчезали из нашего дома. Но, сверх того, надо сказать правду, что Бархатов, несмотря на прозорливость и звание «богомла», чересчур часто заглядывал в девичью, а матушка этого недолюбливала и неукоснительно блюла за нравственностью «подянок».

Кормилица у меня была своя крепостная, Домна, к которой я впоследствии любил бегать украдкой в деревню. Она готовила для меня яичницу и потчевала сливками; и тем и другим я с жадностью насыщался, потому что дома нас держали впроголодь. В кормилицы бабы шли охотно, потому что это, во-первых, освобождало их на время от барщины, во-вторых, исправная выкормка барчонка или барышни обыкновенно сопровождалась отпуском на волю кого-нибудь из кормилкиных детей. Впрочем, отпускали исключительно девочек, так как увольнение мальчика (будущего тяглеца) считалось убыточным; девка же, и по достижении совершенных лет, продавалась на вывод не дороже пятидесяти рублей ассигнациями. Моей кормилице не повезло в этом случае. Дом ее был из бедных, и «вольную» ее дочь Дашутку не удалось выдать замуж на сторону за вольного человека. Поэтому она вошла в семью своего же однодеревенца и таким образом закрепостилась вновь.

Няnek я помню очень смутно. Они менялись почти непрерывно, потому что матушка была вообще гневлива и, сверх того, держалась своеобразной системы, в силу которой крепостные, не изнывавшие с утра до ночи на работе, считались дармоедами.

– Зажирела в няньках, ишь мясищи-то нагуляла! – говорила она и, не откладывая дела в долгий ящик, определяла няньку в прачки, в ткачихи или засаживала за пяльцы и пряжу.

Замечательно, что между многочисленными няньками, которые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. Вообще весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной почве, и сказочный элемент отсутствовал в нем. Детскому воображению приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный мир, не имевший никакого соприкосновения с народной жизнью и ее преданиями, но зато наполненный всевозможными фантазмагориями, содержанием для которых служило богатство, а еще более – генеральство. Последнее представлялось высшим жизненным идеалом, так как все в доме говорили о генералах, даже об отставных, не только с почтением, но и с боязнью.

Я помню, однажды отец получил от предводителя письмо с приглашением на выборы, и на конверте было написано: «его превосходительству» (отец в молодости служил в Петербурге и дослужился до коллежского советника, но многие из его бывших товарищей пошли далеко и занимали видные места). Догадкам и удивлению конца не было. Отец с неделю носил конверт в кармане и всем показывал.

– А кто знает – взяли да в превосходительные и произвели, – говорил он. – Бывали же прежде такие случаи – отче-го ж не случиться и теперь? Сижу я в своем Малиновце, ничего не знаю, а там, может быть, кто-нибудь из старых товарищей взял да и шепнул. Вот при Павле Петровиче такой казус был: встретился государю кто-то из самых простых и на вопрос: «Как вас зовут?» – отвечал: «Евграф такой-то!» А государь недослышал и переспросил: «Граф такой-то?» – «Евграф такой-то», – повторил спрашиваемый. «Царское слово свято! – сказал тогда государь, – поздравляю вас графом!» И пошел с тех пор граф Евграф щеголять! Так-то, может быть, и со мной. Сижу, ничего не знаю, а там: «Быть по сему» – и дело с концом.

Впрочем, я не могу сказать, чтобы фактическая сторона моих детских воспоминаний была особенно богата. Тем не менее, так как у меня было много старших сестер и братьев, которые уже учились в то время, когда я ничего не делал, а только прислушивался и приглядывался, то память моя все-таки сохранила некоторые достаточно яркие впечатления. Припоминается непрерывный детский плач, раздававшийся за классным столом; припоминается целая свита гувернанток, следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево. Помнится родительское равнодушие. Как во сне проходят передо мной и Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и Марья Андреевна, и француженка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила ерофеич и ездила верхом по-мужски. Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками.

Внешней обстановкой моего детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, я похвалиться не могу. Хотя в нашем доме было достаточно комнат, больших, светлых и с обильным содержанием воздуха, но это были комнаты парадные; дети же постоянно теснились: днем – в небольшой классной комнате, а ночью – в общей детской, тоже маленькой, с низким потолком и в зимнее время вдобавок жарко натопленной. Тут было поставлено четыре-пять детских кроватей, а на полу, на войлоках, спали няньки. Само собой разумеется, не было недостатка ни в клопах, ни в тараканах, ни в блохах. Эти насекомые были как бы домашними друзьями. Когда клопы уже чересчур донимали, то кровати выносили и обваривали кипятком, а тараканов по зимам морозили.

Летом мы еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой нас положительно закупоривали в четырех стенах. Ни единой струи свежего воздуха не доходило

до нас, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная атмосфера освежалась только при помощи топки печей. Катанье в санях не было в обычае, и только по воскресеньям нас вывозили в закрытом возке к обедне в церковь, отстоявшую от дома саженьях в пятидесяти, но и тут закутывали до того, что трудно было дышать. Это называлось *нежным* воспитанием. Очень возможно, что, вследствие таких бессмысленных гигиенических условий, все мы впоследствии оказались хилыми, болезненными и не особенно устойчивыми в борьбе с жизненными случайностями. Печально существование, в котором жизненный процесс равносителен непрерывающейся невзгоде, но еще печальнее жизнь, в которой сами живущие как бы не принимают никакого участия. С больною душой, с тоскующим сердцем, с неокрепшим организмом, человек всецело погружается в призрачный мир им самим созданных фантазмагорий, а жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни одной из своих реальных услад. Что такое блаженство? В чем состоит душевное равновесие? почему оно наполняет жизнь отрадой? в силу какого злого волшебства мир живых, полный чудес, для него одного превратился в пустыню? – вот вопросы, которые ежеминутно мечутся перед ним и на которые он тщетно будет искать ответа...

Об опрятности не было и помина. Детские комнаты, как я уже сейчас упомянул, были переполнены насекомыми и нередко оставались по несколько дней неметенными, потому что ничей глаз туда не заглядывал; одежда на детях была плохая и чаще всего перешивалась из разного старья или переходила от старших к младшим; белье переменялось редко. Прибавьте к этому прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань, распространявшую запах, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились с утра до вечера дворянские дети.

То же можно сказать и о питании: оно было очень скудное. В семействе нашем царствовала не то чтобы скупость, а какое-то непонятное скопидомство. Всегда казалось мало, и всего было жаль. Грош прикладывался к грошу, и когда образовывался гривенник, то помыслы устремлялись к целковому. «Ты думаешь, как состояния-то наживаются?» – эта фраза раздавалась во всех углах с утра до вечера, оживляла все сердца, давала тон и содержание всему обиходу. Это было своего рода исповедание веры, которому все безусловно подчинялись. Даже дворовые, насчет которых, собственно, и происходил процесс прижимания гроша к грошу, и те внимали афоризмам стяжания не только без ненависти, но даже с каким-то благоговением.

Утром нам обыкновенно давали по чашке чая, приправленного молоком, непременно снятым (синеватым), несмотря на то, что на скотном дворе стояло более трехсот коров. К чаю полагался крохотный ломоть домашнего белого хлеба; завтрака не было, так что с восьми часов до двух (время обеда) дети буквально оставались без пищи. За обедом подавались кушанья, в которых главную роль играли вчерашние остатки. Иногда чувствовался и запах лежалого. В особенности ненавистны нам были соленые полотки из домашней живности, которыми в летнее время из опасения, чтоб совсем не испортились, нас кормили чуть не ежедневно. Кушанье раздавала детям матушка, но при этом (за исключением любимцев) оделяла такими микроскопическими порциями, что сеньные девушки, которых семьи содержались на месячине,⁴ нередко из жалости приносили под фартуками ватрушек и лепешек и тайком давали нам поесть. Как сейчас помню процедуру *приказыванья* кушанья. В девичьей, на обеденном столе, красовались вчерашние остатки, не исключая похлебки, и матушкою, совместно с поваром, обсуждался вопрос, что и как «подправить» к предстоящему обеду. Затем, если вчерашних остатков оказывалось недостаточно, то прибавлялась свежая провизия, которой предсто-

⁴ Существовало два способа продовольствовать дворовых людей. Одним (исключительно, впрочем, семейным и служившим во дворе, а не в горнице) позволяли держать корову и пару овец на барском корму, отводили крошечный огород под овощи и отсыпали на каждую душу известную пропорцию муки и круп. Это и называлось месячиной. Других кормили в застойной. Первые считали себя, относительно, счастливыми. Я еще помню месячину; но так как этот способ продовольствия считался менее выгодным, то с течением времени он был в нашем доме окончательно упразднен, и все дворовые были поверстаны в застойную. Я помню ропот и даже слезы по этому поводу..

яла завтра та же участь, то есть быть подправленной на завтрашний обед. Таким образом дело шло изо дня в день, так что совсем свежий обед готовился лишь по большим праздникам да в те дни, когда наезжали гости. На случай нечаянных приездов несколько кушаньев *получше* приготавливались особо и хранились на погребе. Приедет нечаянный гость – бегут на погреб и несут оттуда какое-нибудь заливное или легко разогреваемое: вот, дескать, мы каждый день так едим!

Но даже мы, не избалованные сытным и вкусным столом, приходили в недоумение при виде пирога, который по воскресеньям подавался на закуску попу с причтом. Начинка этого пирога представляла смешение всевозможных отбросков, накопившихся в течение недели, и наполняла столовую своеобразным запахом лежалой солонины. Пирог этот так и назывался «поповским», да и посуда к закуске подавалась особенная, поповская: серые, прыщеватые тарелки, ножи с сточенными лезвиями, поломанные вилки, стаканы и рюмки зеленого стекла. Впрочем, надо сказать правду, что и поп у нас был совсем особенный, *таковский*, как тогда выражались.

Однако ж при матушке еда все-таки была сноснее; но когда она уезжала на более или менее продолжительное время в Москву или в другие вотчины и домовничать оставался отец, тогда наступало сущее бедствие. Обыкновенно в таких случаях отцу оставлялась сторублевая ассигнация на все про все, а затем призывался церковный староста, которому наказывалось, чтобы в случае ежели оставленных барину денег будет недостаточно, то давать ему заимообразно из церковных сумм. Отец не был жаден, но, желая угодить матушке, старался из всех сил сохранить доверенную ему ассигнацию в целости. Поэтому он доводил экономию до самых безобразных размеров. Даже соседи это знали и никогда к нам, в отсутствие матушки, не ездили. Результаты таких экономических усилий почти всегда сопровождались блестящим успехом: отцу удавалось возратить оставленный капитал неприкосновенным, ибо ежели и случался неотложный расход, то он скорее решался занять малость из церковных сумм, нежели разменять сторублевую. Тем не менее, хотя мы и голодали, но у нас оставалось утешение: при отце мы могли роптать, тогда как при матушке малейшее слово неудовольствия сопровождалось немедленным и жестоким возмездием.

Как ни вредно отражалось на детских организмах недостаточное питание, но в нравственном смысле еще более вредное влияние оказывал самый способ распределения пищи. В этом отношении господствовало совершенное неравенство и пристрастия. Дети в нашей семье (впрочем, тут я разумею, по преимуществу, матушку, которая давала тон всему семейству) разделялись на две категории: на любимых и постылых, и так как высшее счастье жизни полагалось в еде, то и преимущества любимых над постылыми проявлялись главным образом за обедом. Матушка, раздавая кушанье, выбирала для любимчика кусок и побольше и посвежее, а для постылого – непременно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку. Иногда, оделив любимчиков, она говорила постылым: «А вы сами возьмите!» И тогда происходило постыдное зрелище борьбы, которой предавались голодные постылые.

Матушка исподлобья взглядывала, наклонившись над тарелкой и выжидая, что будет. Постылый в большинстве случаев, чувствуя устремленный на него ее пристальный взгляд и сознавая, что предоставление свободы в выборе куска есть не что иное, как игра в кошку и мышку, самоотверженно брал самый дурной кусок.

– Что же ты получше куска не выбрал? вон сбоку, смотри, жирный какой! – заговаривала матушка притворно ласковым голосом, обращаясь к несчастному постылому, у которого глаза были полны слез.

– Я, маменька, сыт-с! – отвечал постылый, стараясь быть развязным и нервно хихикая.

– То-то сыт! а губы зачем надул? смотри ты у меня! я ведь насквозь тебя, тихоня, вижу!

Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и он начинал тыкать вилкой по блюду, выбирая кусок получше. Как вдруг раздавался окрик:

– Ты что это разыгрался, мерзавец! Ишь новую моду завел, вилок по блюду тыкать! Подавай сюда тарелку!

И постылому накладывалась на тарелку уже действительно совсем подоженная и не имевшая ни малейшей питательности щепка.

Вообще весь процесс насыщения сопровождался тоскливыми заглядываниями в тарелки любимчиков и очень часто разрешался долго сдерживаемыми слезами. А за слезами неизбежно следовали шлепки по затылку, приказания продолжать обед стоя, лишение блюда, и непременно любимого, и т. д.

То же самое происходило и с лакомством. Зимой нам давали полакомиться очень редко, но летом ягод и фруктов было такое изобилие, что и детей ежедневно оделяли ими. Обыкновенно, для вида, всех вообще оделяли поровну, но любимчикам клали особо в потаенное место двойную порцию фруктов и ягод, и, конечно, посвежее, чем постылым. Происходило шушуканье между матушкой и любимчиками, и постылые легко догадывались, что их настигла обида...

Существовал и еще прием, который чувствительно отзывался на постылых. Обыкновенно матушка сама собирала фрукты, то есть персики, абрикосы, шпанские вишни, сливы и т. п. Уходя в оранжерею, она очень часто брала с собой кого-нибудь из любимчиков и давала ему там фрукты *прямо с дерева*. Можете себе представить, какие картины рисовало воображение постылых, покуда происходила процедура сбора фруктов и в воротах сада показывалась процессия с лотками, горшками и мисками, наполненными массой спелых персиков, вишен и проч.! И в этой процессии, следом за матушкой, резвясь и играя, возвращался любимчик...

Да, мне и теперь становится неловко, когда я вспоминаю об этих дележах, тем больше, что разделение на любимых и постылых не остановилось на рубеже детства, но прошло впоследствии через всю жизнь и отразилось в очень существенных несправедливостях...

– Но вы описываете не действительность, а какой-то вымышленный ад! – могут сказать мне. Что описываемое мной похоже на ад – об этом я не спорю, но в то же время утверждаю, что этот ад не вымыслен мной. Это «пошехонская старина» – и ничего больше, и, воспроизводя ее, я могу, положив руку на сердце, подписаться: с подлинным верно.

Я не отрицаю, впрочем, что встречалась и тогда другого рода действительность, мягкая и даже сочувственная. Я и ее впоследствии не обойду. В настоящем «житии» найдется место для всего разнообразия стихий и фактов, из которых составлялся порядок вещей, называемый «старинию».

III. Воспитание нравственное

Вообще весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Но нравственно-педагогический элемент был даже ниже физического. Начну с взаимных отношений родителей.

Как я уже упоминал, отец мой женился сорока лет на девушке, еще не вышедшей из ребяческого состояния. Это был первый и главный исходный пункт будущих несогласий. Затем отец принадлежал к старинному дворянскому роду (Затрапезный – шутка сказать!), а мать была по рождению купчиха, при выдаче которой замуж вдобавок не отдали полностью договоренного приданого. Ни в характерах, ни в воспитании, ни в привычках супругов не было ничего общего, и так как матушка была из Москвы привезена в деревню, в совершенно чуждую ей семью, то в первое время после женитьбы положение ее было до крайности беспомощное и приниженное. И ей с необыкновенной грубостью и даже жестокостью давали чувствовать эту приниженность.

В особенности донимали ее на первых порах золовки, которые все жили неподалеку от отцовской родовой усадьбы и которые встретили молодую хозяйку в высшей степени враждебно. А так как все они были «чудихи», то приставания их имели удивительно нелепые и досадные формы. Примутся, например, без всякой причины хохотать между собой и при этом искоса взглядывать на матушку. Или, при появлении ее, шепчут: «Купчиха! купчиха! купчиха!» – и при этом опять так и покатываются со смеха. Или обращаются к отцу с вопросом: «А скоро ли вы, братец, имение на приданое молодой хозяйки купите?» Так что даже отец, несмотря на свою вялость, по временам гневался и кричал: «Язвы вы, язвы! как у вас язык не отсохнет!» Что же касается матушки, то она, натурально, возненавидела золовок и впоследствии доказала не без жестокости, что память у нее относительно обид не короткая.

Впрочем, в то время, как я начал себя помнить, роли уже переменились. Командиршею в доме была матушка; золовки были доведены до безмолвия и играли роль приживалок. Отец тоже стусевался; однако ж сознавал свою приниженность и оплачивал за нее тем, что при всяком случае осыпал матушку бессильною руганью и укоризнами. В течение целого дня они почти никогда не видались; отец сидел безвыходно в своем кабинете и перечитывал старые газеты; мать в своей спальне писала деловые письма, считала деньги, совещалась с должностными людьми и т. д. Сходились только за обедом и вечерним чаем, и тут начинался настоящий погром. К несчастью, свидетелями этих сцен были и дети. Инициатива брани шла всегда от отца, который, как человек слабохарактерный, не мог выдержать и первый, без всякой наглядной причины, начинал семейную баталию. Раздавалась брань, припоминалось прошлое, слышались намеки, непристойные слова. Матушка всегда почти выслушивала молча, только верхняя губа у нее сильно дрожала. Все притихало: люди ходили на цыпочках; дети опускали глаза в тарелки; одни гувернантки не смущались. Они открыто принимали сторону матушки и как будто про себя (но так, чтобы матушка слышала) шептали: «Страдалица!»

Такие сцены повторялись почти каждый день. Мы ничего не понимали в них, но видели, что сила на стороне матушки и что в то же время она чем-то кровно обидела отца. Но вообще мы хладнокровно выслушивали возмутительные выражения семейной свары, и она не вызывала в нас никакого чувства, кроме безотчетного страха перед матерью и полного безучастия к отцу, который не только кому-нибудь из нас, но даже себе никакой защиты дать не мог. Скажу больше: мы только по имени были детьми наших родителей, и сердца наши оставались вполне равнодушными ко всему, что касалось их взаимных отношений.

Да оно и не могло быть иначе, потому что отношения к нам родителей были совсем неестественные. Ни отец, ни мать не занимались детьми, почти не знали их. Отец – потому что был устранен от всякого деятельного участия в семейном обиходе; мать – потому что все-

цело была погружена в процесс благоприобретения. Она являлась между нами только тогда, когда, по жалобе гувернантки, ей приходилось карать. Являлась гневная, неумолимая, с закушенной нижней губою, решительная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не считать лаской те безнравственные подачки, которые кидались любимчикам на зависть постылым. Был, впрочем, и еще один вид родительской ласки, о котором стоит упомянуть. Когда матушка занималась «делами», то всегда затворялась в своей спальне. Тут она выслушивала старост и бурмистров, принимала оброчную сумму, запродавала хлеб, тальки, полотна и прочие произведения; тут же происходило и ежедневное подсчитыванье денежной кассы. Матушка не любила производить свои денежные операции при свидетелях, но любимчики составляли в этом случае исключение. Заметив, что матушка «затворилась», они тихонько бродили около ее спальни, и материнское сердце, почуяв их робкие шаги, растворялось.

– Кто там? – раздавался голос из спальни.

– Это я, маменька, Гриша...

– Ну, войди. Войди, посмотри, как мать-старуха хлопочет. Вон сколько денег Максимушка (бурмистр из ближней вотчины) матери привез. А мы их в ящик уложим, а потом вместе с другими в дело пустим. Посиди, дружок, посмотри, поучись. Только сиди смирно, не мешай.

Гриша садился и застывал на месте. Он был бесконечно счастлив, ибо понимал, что маменькино сердце раскрылось и маменька любит его.

Разумеется, любимчик передавал о слышанном и виденном прочим братьям и сестрам, и тогда между детьми происходили своеобразные собеседования.

– И куда она такую прорву деньжищ копит! – восклицал кто-нибудь из постылых.

– Все для них вот, для любимчиков этих, для Гришки да для Надьки! – отзывался другой постылый.

– Ты бы, Гришка, сказал матери: вы, маменька, не все для нас копите, у вас и другие дети есть...

– Да, – скажет он!

И т. д. и т. д.

Таковы были единственные выражения, в которых родительская ласка исчерпывалась вполне.

Таким образом, к отцу мы, дети, были совершенно равнодушны, как и все вообще домоладцы, за исключением, быть может, старых слуг, помнивших еще холостые отцовские годы; матушку, напротив, боялись как огня, потому что она являлась последнюю карательную инстанцией и притом не смягчала, а, наоборот, всегда усиливала меру наказания.

Вообще телесные наказания во всех видах и формах являлись главным педагогическим приемом. К сечению прибегали не часто, но колотушки, как более сподручные, сыпались со всех сторон, так что «постылым» совсем житья не было. Я, лично, рос отдельно от большинства братьев и сестер (старше меня было три брата и четыре сестры, причем между мною и моей предшественницей-сестрой было три года разницы) и потому менее других участвовал в общей оргии битья, но, впрочем, когда и для меня подоспела пора ученья, то, на мое несчастье, приехала вышедшая из института старшая сестра, которая дралась с таким ожесточением, как будто мстила за прежде вытерпленные побои. Благодаря этому педагогическому приему во время классов раздавались неумолкающие детские стоны, зато внеклассное время дети сидели смирно, не шевелясь, и весь дом погружался в такую тишину, как будто вымирал. Словом сказать, это был подлинный детский мартиролог, и в настоящее время, когда я пишу эти строки и когда многое в отношениях между родителями и детьми настолько изменилось, что малейшая боль, ощущаемая ребенком, заставляет тоскливо сжиматься родительские сердца, подобное мучительство покажется чудовищным вымыслом. Но сами создатели этого мартиролога отнюдь не осознавали себя извергами – да и в глазах посторонних не слыли за таковых. Просто говорилось: «С детьми без этого нельзя». И допускалось в этом смысле только одно ограниче-

ние: как бы не застукать совсем! Но кто может сказать, сколько «не до конца застуканных» безвременно снесено на кладбище? кто может определить, скольким из этих юных страстотерпцев была застукана и изуродована вся последующая жизнь?

Но ежели несправедливые и суровые наказания ожесточали детские сердца, то поступки и разговоры, которых дети были свидетелями, развращали их. К сожалению, старшие даже на короткое время не считали нужным сдерживаться перед нами и без малейшего стеснения выворачивали ту интимную подкладку, которая давала ключ к уразумению целого жизненного строя.

Нормальные отношения помещиков того времени к окружающей крепостной среде определялись словом «гневаться». Это было как бы естественное право, которое нынче совсем пришло в забвение. Нынче всякий так называемый «господин» отлично понимает, что гневается ли он или нет, результат все один и тот же: «наплевать!»; но при крепостном праве выражение это было обильно и содержанием, и практическими последствиями. Господа «гневались», прислуга имела свойство «прогневлять». Это был, так сказать, волшебный круг, в котором обязательно вращались все тогдашние несложные отношения. По крайней мере, всякий раз, когда нам, детям, приходилось сталкиваться с прислугой, всякий раз мы видели испуганные лица и слышали одно и то же шушуканье: «барыня изволят гневаться», «барин гневаются»...

За обедом прежде всего гневались на повара. Повар у нас был старый (были и молодые, но их отпускали по оброку), полуслепой и довольно нечистоплотный. Ежели кушанье оказывалось чересчур посоленным, то его призывали и объявляли, что недосол на столе, а пересол на спине; если в супе отыскивали таракана – повара опять призывали и заставляли таракана разжевать. Иногда матушка не доискивалась куска, который утром, заказывая обед, собственными глазами видела, опять повара за бока: куда девал кусок? любовнице отдал? Словом сказать, редкий обед проходил, чтобы несчастный старик чем-нибудь да не прогневил господ.

Кроме повара, гневались и на лакеев, прислуживавших за столом. Мотивы были самые разнообразные: не так ступил, не так подал, не так взглянул. «Что фордыбакой-то смотришь, или уж намеднишнюю баню позабыл?» – «Что словно во сне веревки вешь – или по-намеднишнему напомнить надо?» Такие вопросы и ссылки на недавнее прошлое сыпались непрерывно. Драться во время еды было неудобно; поэтому отец, как человек набожный, нередко прибегал к наложению эпитимии. Прогневается на какого-нибудь «не так ступившего» верзилу, да и поставит его возле себя на колени, а не то так прикажет до конца обеда земные поклоны отбивать.

Однако не всегда же домашние встречи ознаменовывались семейными сварами, не всегда господа гневались, а прислуга прогневляла. От времени до времени выпадали дни, когда воюющие стороны встречались мирно, и свара уступала место обыкновенному разговору. Увы! разговоры эти своим пошлым содержанием и формой засоряли детские мозги едва ли не хуже, нежели самая жестокая брань. Обыкновенно они вращались или около средств наживы и сопряженных с нею разнообразнейших форм объегоривания, или около половых проказ родных и соседей.

– Ты знаешь ли, как он состояние-то приобрел? – вопрошал один (или одна) и тут же объяснял все подробности стяжания, в которых торжествующую сторону представлял человек, пользовавшийся кличкой не то «шельмы», не то «умницы», а угнетенную сторону – «простофиля» и «дурак».

Или:

– Ты что глаза-то вытарацил? – обращалась иногда матушка к кому-нибудь из детей, – чай, думаешь, скоро отец с матерью умрут, так мы, дескать, живо спустим, что они хребтом, да потом, да кровью нажили! Успокойся, мерзавец! Умрем, все вам оставим, ничего в могилу с собой не унесем!

А иногда к этому прибавлялась и угроза:

– А хочешь, я тебя, балбес, в Суздаль-монастырь сошлю? да, возьму и сошлю! И никто меня за это не осудит, потому что я мать: что хочу, то над детьми и делаю! Сиди там да и жди, пока мать с отцом умрут, да имение свое тебе, шельмецу, предоставят.

Что касается до оценки действий родных и соседей, то она почти исключительно исчерпывалась фразами:

– И лег и встал у своей любезной!

Или:

– Любовники-то настоящие бросили, так она за попа принялась...

И все это говорилось без малейшей тени негодования, без малейшей попытки скрыть гнусный смысл слов, как будто речь шла о самом обыденном факте. В слове «шельма» слышалась не укоризна, а скорее что-то ласкательное, вроде «молодца». Напротив, «простофиля» не только не встречал ни в ком сочувствия, но возбуждал нелепое злорадство, которое и формулировалось в своеобразном афоризме: «Так и надо учить дураков!»

Но судачением соседей дело ограничивалось очень редко; в большинстве случаев оно перерождалось в взаимную семейную перестрелку. Начинали с соседей, а потом постепенно переходили к самим себе. Возникали бурные сцены, сыпались упреки, выступали на сцену откровения...

Впрочем, виноват: кроме таких разговоров, иногда (преимущественно по праздникам) возникали и богословские споры. Так, например, я помню, в Преображенъев день (наш престольный праздник), по поводу слов тропаря: *Показывай ученикам своим славу твою, яко же можашу*, – спорили о том, что такое «жеможаха»? сияние, что ли, особенное? А однажды помещица-соседка, из самых почетных в уезде, интересовалась узнать: что это за «жезаны» такие? И когда отец заметил ей: «Как же вы, сударыня, Богу молитесь, а не понимаете, что тут не одно, а три слова: же, за, ны... „за нас“ то есть», – то она очень развязно отвечала:

– Толкуй, троеслов! Еще неизвестно, чья молитва Богу угоднее. Я вот и одним словом молюсь, а моя молитва доходит, а ты и тремя словами молишься, ан Бог-то тебя не слышит, – и проч. и проч.

Разговоры старших, конечно, полагались в основу и наших детских интимных бесед, любимую темой для которых служили маменькины благоприобретения и наши предположения, кому что по смерти ее достанется. Об отцовском имени мы не поминали, потому что оно, сравнительно, представляло небольшую часть общего достояния и притом всецело предназначалось старшему брату Порфирию (я в детстве его почти не знал, потому что он в это время воспитывался в московском университетском пансионе, а оттуда прямо поступил на службу); прочие же дети должны были ждать награды от матушки. В этом пункте матушка вынуждена была уступить отцу, хотя Порфирий и не был из числа любимчиков. Тем не менее не все из нас находили это распоряжение справедливым и не совсем охотно отдавались на «милость» матушки.

– Малиновец-то ведь золотое дно, даром что в нем только триста шестьдесят одна душа! – претендовал брат Степан, самый постылый из всех, – в прошлом году одного хлеба на десять тысяч продали, да пустоша в кортому отдавали, да масло, да яйца, да тальки. Лесу-то сколько, лесу! Там *она* даст или не даст, а тут *свое, законное*. Нельзя из родового законной части не выделить. Вон Заболотье – и велика Федора, да дура – что в нем!

– Ну нет, и Заболотье недурно, – резонно возражал ему любимчик Гриша, – а притом папенькино желанье такое, чтоб Малиновец в целом составе перешел к старшему в роде Затрапезных. Надо же уважить старика.

– Что отец! только слава, что отец! Вот мне, небось, Малиновца не подумал оставить, а ведь и я чем не Затрапезный? Вот увидите: отвалит *она* мне вологодскую деревнюшку в сто душ и скажет: пей, ешь и веселись! И манже, и буар, и сортир – все тут!

– А мне в Меленках деревнюшку выбросит! – задумчиво отзывалась сестра Вера, – с таким приданым кто меня замуж возьмет?

– Нет, меленковская деревнюшка – Любке, а с тебя и в Ветлужском уезде сорока душ будет!

– А, может, вдруг расщедрится – скажет: и меленковскую и ветлужскую деревни Любке отдать! ведь это уж в своем роде кус!

– Кому-то она Бубново с деревнями отдаст! вот это так кус! Намеднись мы ехали мимо: скирдов-то, скирдов-то наставлено! Кучер Алемпий говорит: «Точно Украина!»

– Разумеется, Бубново – Гришке! Недаром он матери на нас шпионит. Тебе, что ли, Гришка-шпион?

– Я всем буду доволен, что милость маменьки назначит мне, – кротко отвечает Гриша, потупив глазки.

– Намеднись мы с Веркой считали, что *она* доходов с имений получает. Считали-считали, до пятидесяти тысяч насчитали... ей-богу!

– И куда она экую прорву деньжищ копит!

– Намеднись Петр Дормидонтов из города приезжал. Заперлись, завещанье писали. Я было у двери подслушать хотел, да только и успел услышать: «а *его* за неповиновение...» В это время слышу: потихоньку кресло отодвигают – я как дам стрекача, только пятки засверкали! Да что ж, впрочем, подслушивай не подслушивай, а *его* – это непременно означает меня! Ушлет она меня к тотемским чудотворцам, как пить даст!

– Кому-то она Заболотье отделит! – беспокоится сестра Софья.

– Тебе, Сонька, тебе, кроткая девочка... дожидайся! – острит Степан.

– Да ведь не унесет же она его, в самом деле, в могилу!

– Нет, господя! этого дела нельзя оставлять! надо у Петра Дормидонтыча досконально выпытать!

– Я и то спрашивал: что, мол, кому и как? Смеется, каналья: «Все, говорит, вам, Степан Васильич! Ни братцам, ни сестрицам ничего – все вам!»

И т. д.

Иногда Степка-балбес поднимался на хитрости. Доставал у дворовых ладанки с бессмысленными заговорами и подолгу носил их, в чаянье приворожить сердце маменьки. А один раз поймал лягушку, подрезал ей лапки и еще живую зарыл в муравейник. И потом всем показывал беленькую косточку, уверяя, что она принадлежит той самой лягушке, которую объели муравьи.

– Мне этот секрет Венька-портной открыл. «Сделайте, говорит: вот увидите, что маменька совсем другие к вам будут!» А что, ежели она вдруг... «Степа, – скажет, – поди ко мне, сын мой любезный! вот тебе Бубново с деревнями...» Да деньжищ малую толику отсыплет: катаясь, каналья, как сыр в масле!

– Дожидайся! – огорчался Гриша, слушая эти похвальбы, и даже принимался плакать с досады, как будто у него и в самом деле отнимали Бубново.

Магушка, благодаря наушникам, знала об этих *детских* разговорах и хоть не часто (у ней было слишком мало на это досуга), но временами обрушивалась на брата Степана.

– Ты опять, балбес бесчувственный, над матерью надругаешься! – кричала она на него, – мало тебе, постылому сыну, намеднишней потасовки! – И вслед за этими словами происходила новая жестокая потасовка, которая даже у малочувствительного «балбеса» извлекала из глаз потоки слез.

Вообще нужно сказать, что система шпионства и наушничества была в полном ходу в нашем доме. Наушничала прислуга, в особенности должностная; наушничали дети. И не только любимчики, но и постылые, желавшие хоть на несколько часов выслужиться.

– Марья Андреевна! *он* вас кобылой назвал! – слышалось во время классов, и, разумеется, донос не оставался без последствий для «виноватого». Марья Андреевна, с истинно адскою хищностью, впивалась в *его* уши и острыми ногтями до крови ковыряла ушную мочку, приговаривая:

– Это тебе за кобылу! это тебе за кобылу! Гриша! поди сюда, поцелуй меня, добрый мальчик! Вот так. И вперед мне говори, коли что дурное про меня будут братцы или сестрицы болтать.

Выше я упоминал о формах, в которых обрушивался барский гнев на прогневлывшую господ прислугу, но все сказанное по этому поводу касается исключительно мужского персонала, который подвергивался под руку сравнительно довольно редко. Несравненно в более горьком положении была женская прислуга, и в особенности сенные девушки, которые на тогдашнем циническом языке назывались «девками».⁵

«Девка» была существо не только безответное, но и дешевое, что в значительной степени увеличивало ее безответность. Об «девке» говорили: «дешевле пареной репы», или «по грошу пара» – и соответственно с этим ценили ее услуги. Дворовым человеком до известной степени дорожили. Во-первых, в большинстве случаев, это был мастеровой или искусник, которого не так-то легко заменить. Во-вторых, если за ним и не водилось ремесла, то он знал барские привычки, умел подавать брюки, обладал сноровкой, разговором и т. д. В-третьих, дворового человека можно было отдать в солдаты, в зачет будущих наборов, и квитанцию с выгодой продать. Ничего подобного «девки» не представляли. Из них был повод дорожить только ключницей, барыниной горничной, да, может быть, какой-нибудь особенно искусной мастерицей, обученной в Москве на Кузнецком мосту. Все прочие составляли безразличную массу, каждый член которой мог быть без труда заменен другим. Все пряли, все вязали чулки, вышивали в пальцах, плели кружева. И из-за взрослых всегда выглядывал на смену контингент подростков.

Поэтому их плохо кормили, одевали в затрапез и мало давали спать, изнуряя почти непрерывной работой.⁶ И было их у всех помещиков великое множество.

В нашем доме их тоже было не меньше тридцати штук. Все они занимались разного рода шитьем и плетеньем, покуда светло, а с наступлением сумерек их загоняли в небольшую девичью, где они пряли, при свете сального огарка, часов до одиннадцати ночи. Тут же они обедали, ужинали и спали на полу, вповалку, на войлоках.

Вследствие непосильной работы и худого питания девушки очень часто недомогали и все имели уныло-заспанный вид и землистый цвет лица. Красивых не было. Многие были удивительно терпеливы, кротки и горячо верили, что смерть возместит им те радости и улады, в которых так сурово отказала жизнь. В последние дни страстной недели, под влиянием ежедневных служб, эта вера в особенности оживлялась, так что вся девичья наполнялась тихими, сосредоточенными вздохами. Наступавший затем Светлый праздник был едва ли не единственным днем, когда лица рабов и рабынь расцветали и крепостное право как бы упразднялось.

Но что было всего циничнее и возмутительнее – это необыкновенно настойчивое выслеживание «девок».

У большинства помещиков было принято за правило не допускать браков между дворовыми людьми. Говорилось прямо: раз вышла девка замуж – она уж не слуга; ей впору детей родить, а не господам служить. А иные к этому цинично прибавляли: на них, кобыл, и жеребцов

⁵ Выражение это напоминает мне довольно оригинальный случай. В половине семидесятых годов мне привелось провести зиму в одной из так называемых *stations d'hiver* <зимних станций> на берегу Средиземного моря. Узнав, что в городе имеется пансион, содержимый русской старушкой барыней из Бронниц, я, конечно, поспешил туда. И как же я был обрадован, когда, на мой вопрос о прислуге, милая старушка ответила: «Да скличьте девку – вот и прислуга!» Так на меня и пахло, словно из печки.

⁶ Разумеется, встречались помещичьи дома, где и дворовым девкам жилось изрядно, но в большей части случаев тут примешивался гаремный оттенок.

не напасешься! С девки всегда спрашивалось больше, нежели с замужней женщины: и лишняя талька пряжи, и лишний вершок кружева, и т. д. Поэтому был прямой расчет, чтобы девичье целомудрие не нарушалось.

Процедура выслеживания была омерзительна до последней степени. Устраивали засады, подстерегали по ночам, рылись в грязном белье и проч. И когда, наконец, улики были налицо, начинался целый ад. Иногда, не дождавшись разрешения от бремени, виновную (как тогда говорили: «с кузовом») выдавали за крестьянина дальней деревни, непременно за бедного, и притом вдовца с большим семейством. Словом сказать, трагедии самые несомненные совершались на каждом шагу, и никто и не подозревал, что это трагедия, а говорили резонно, что с «подлянками» иначе поступать нельзя.

И мы, дети, были свидетелями этих трагедий и глядели на них не только без ужаса, но совершенно равнодушными глазами. Кажется, и мы не прочь были думать, что с «подлянками» иначе нельзя...

Были, впрочем, и либеральные помещики. Эти не выслеживали девичьих беременностей, но замуж выходить все-таки не позволяли, так что, сколько бы ни было у «девки» детей, ее продолжали считать «девкою» до смерти, а дети ее отдавались в дальние деревни, в *дети* крестьянам. И все это хитросплетение допускалось ради лишней тальки пряжи, ради лишнего вершка кружева.

Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и былем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла былем; но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло былем, а продолжает и донесет тяготеть над жизнью? Фабула исчезла, но в характерах образовалась известная складка, в жизнь проникли известные привычки... Спрашивается: исчезли ли вместе с фабулой эти привычки, эта складка?

В заключение не могу не упомянуть здесь и еще об одном существенном недостатке, которым страдало наше нравственное воспитание. Я разумею здесь совершенное отсутствие общения с природой.

Бывают счастливые дети, которые с пеленок ощущают на себе прикосновение тех бесконечно разнообразных сокровищ, которые мать-природа на всяком месте расточает перед каждым, имеющим очи, чтоб видеть, и уши, чтобы слышать. Мне было уже за тридцать лет, когда я прочитал «Детские годы Багрова-внука», и, признаюсь откровенно, прочитал почти с завистью. Правда, что природа, лелеявшая детство Багрова, была богаче и светом, и теплом, и разнообразием содержания, нежели бедная природа нашего серого захолустья, но ведь для того, чтобы и богатая природа осияла душу ребенка своим светом, необходимо, чтоб с самых ранних лет создалось то стихийное общение, которое, захватив человека в колыбели, наполняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь. Если этого общения не существует, если между ребенком и природой нет никакой непосредственной и живой связи, которая помогла бы первому заинтересоваться великою тайною вселенской жизни, то и самые яркие и разнообразные картины не разбудят его равнодушия. Напротив того, при наличности общения, ежели дети не закупорены наглухо от вторжения воздуха и света, то и скудная природа может пролить радость и умиление в детские сердца.

Что касается до нас, то мы знакомились с природою случайно и урывками – только во время переездов на долгих в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно. Ни о какой охоте никто и понятия не имел, даже ружья, кажется, в целом доме не было. Раза два-три в год матушка позволяла себе нечто вроде *partie*

de plaisir⁷ и отправлялась всей семьей в лес по грибы или в соседнюю деревню, где был большой пруд, и происходила ловля карасей.

Караси были диковинные и по вкусу, и по величине, но ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой не имела ничего общего. А кроме того, мы даже в смысле лакомства чересчур мало пользовались плодами ее, потому что почти все наловленное немедленно солилось, вялилось и сушилось впрок и потом неизвестно куда исчезало. Затем ни зверей, ни птиц в живом виде в нашем доме не водилось; вообще ничего сверхштатного, что потребовало бы лишнего куска на прокорм. И зверей и птиц мы знали только в соленом, вареном и жареном виде. Исключение составлял рыжий Васька-кот, которого, впрочем, очень кстати плохо кормили, чтобы он усерднее ловил мышей. Да еще я помню двух собак, Плутонку и Трезорку, которых держали на цепи около застольной, а в дом не пускали.

Вообще в нашем доме избегалось все, что могло давать пищу воображению и любознательности. Не допускалось ни одного слова лишнего, все было на счету. Даже предрассудки и приметы были в пренебрежении, но не вследствие свободомыслия, а потому что следование им требовало возни и бесплодной траты времени. Так что ежели, например, староста докладывал, что хорошо бы с понедельника рожь жать начать, да день-то тяжелый, то матушка ему неизменно отвечала: «Начинай-ко, начинай! там что будет, а коли, чего доброго, с понедельника рожь сыпаться начнет, так кто нам за убытки заплатит?» Только черта боялись; об нем говорили: «Кто его знает, ни то он есть, ни то его нет – а ну, как есть?!» Да о домовом достоинстве знали, что он живет на чердаке. Эти два предрассудка допускались, потому что от них никакое дело не страдало.

Религиозный элемент тоже сведен был на степень простой обрядности. Ходили к обедне аккуратно каждое воскресенье, а накануне больших праздников служили в доме всенощные и молебны с водосвятием, причем строго следили, чтобы дети усердно крестились и клали земные поклоны. Отец каждое утро запирался в кабинете и, выйдя оттуда, раздавал нам по кусочку зачерствелой просвиры. Но во всем этом царствовала полная машинальность, и не чувствовалось ничего, что напоминало бы возглас: «Горе имеем сердца!» Колени пригибались, лбы стучались об пол, но сердца оставались немые. Только в Светлый праздник дом своей тишиной несколько напоминал об умиротворении и умирении сердец...

Попы в то время находились в полном повиновении у помещиков, и обхождение с ними было полупрезрительное. Церковь, как и все остальное, была крепостная, и поп при ней – крепостной. Захочет помещик – у попа будет хлеб, не захочет – поп без хлеба насидится. Наш поп был полуграмотный, выслужившийся из дьячков; это был домовитый и честный старик, который пахал, косил, жал и молотил наряду со всеми крестьянами. Обыкновенно он вел трезвую жизнь, но в большие праздники напивался до безобразия. Обращались с ним нехорошо (даже в глаза называли Ванькой). Я помню, что нередко, во время чтения Евангелия, отец через всю церковь поправлял его ошибки. Помню также ежегодно повторявшийся скандал на вечерне Светлого праздника. Поп порывался затворить царские врата, а отец не допускал его, так что дело доходило между ними до борьбы. А по окончании службы поп выходил на амвон, становился на колени и кланялся отцу в ноги, прося прощения. Разумеется, соответственно с таким обращением соразмерялась и плата за требы. За всенощную платили двугривенный, за молебен с водосвятием – гривенник. Самые монеты, назначавшиеся в вознаграждение причту, выбирались до того слепые, что даже «пятнышек» не было видно.

Тем не менее, несмотря на почти совершенное отсутствие религиозной подготовки, я помню, что когда я в первый раз прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее действие. Но об этом я расскажу впоследствии, когда пойдет речь об учении.

⁷ пикник (фр.).

IV. День в помещицкой усадьбе

Июль в начале; шестой час утра. Окно в девичьей поднято, и в комнату со двора врывается свежая струя воздуха. Рои мух так и кишат в воздухе и в особенности скучиваются под потолком, откуда слышится неистовое гудение. Женская прислуга уже встала, убрала с полу войлоки, собралась около стола и завтракает. На этот раз на столе стоит чашка с толокном, и деревянные ложки усиленно работают. Через десять минут завтрак кончен; девицы скрываются в рабочую комнату, где расставлены пяльцы и подушки для кружев. В девичьей остается одна денщица, обыкновенно из подростков, которая убирает посуду, метет комнату и принимается вязать чулок, чутко прислушиваясь, не раздадутся ли в барыниной спальне шаги Анны Павловны Затрапезной.

Рабочий день начался, но работа покуда идет вяло. До тех пор, пока не заслышится грозный барынин голос, у некоторых девушек слипаются глаза, другие ведут праздные разговоры. И иглы и коклюшки двигаются медленно.

Хотя время еще раннее, но в рабочей комнате солнечные лучи уже начинают исподволь нагревать воздух. Впереди предвидится жаркий и душный день. Беседа идет о том, какое барыня сделает распоряжение. Хорошо, ежели пошлют в лес за грибами или за ягодами, или нарядят в сад ягоды обирать; но беда, ежели на целый день за пяльцы да за коклюшки засадят – хоть умирай от жары и духоты.

– Сказывают, во ржах солдат беглый притаился, – сообщают друг другу девушки, – наместись Дашутка, с села, в лес по грибы ходила, так он как прыснет из-за ржей да на нее. Хлеб с ней был, молочка малость – отнял и отпустил.

– Смотри, не созорничал ли?

– Нет, говорит, ничего не сделал; только что взяла с собой поесть, то отнял. Да и солдат-то, слышь, здешний, из Великановской усадьбы Сережка-фалетур.

– А в Лому медведь проявился. Вот коли туда пошлют, да он в гости к себе позовет!

– Меня он в один глоток съест! – отзывается карлица Полька.

Это – несчастная и вечно больная девушка, лет двадцати пяти, ростом аршин с четвертью, с кошачьими глазами и выпятившимся клином животом. Однако ж ее заставляют работать наравне с большими, только пяльцы устроили низенькие и дали низенькую скамеечку.

– А правда ли, – повествует одна из собеседниц, – в Москалеве одну бабу медведь в берлогу увел да целую зиму у себя там и держал?

– Как же! в кухарках она у него жила! – смеются другие.

В эту минуту в рабочую комнату как угорелая вбегают денщица и шепотом возглашает:

– Барыня! барыня идет!

Девичий гомон мгновенно стихает; головы наклоняются к работе; иглы проворно мелькают, коклюшки стучат. В дверях показывается заспанная фигура барыни, нечесаной, невымытой, в засаленной блузе. Она зеваёт и крестит рот; иногда так постоит и уйдет, но в иной день заглянет и в работы. В последнем случае редко проходит, чтобы не раздалось, для начала дня, двух-трех пощечин. В особенности достается подросткам, которые еще учатся и очень часто портят работу.

На этот раз, однако ж, все обходится благополучно. Анна Павловна, постояв несколько секунд, грузными шагами направляется в девичью, где, заложив руки за спину, ее ожидает старик повар в рваной куртке и засаленном переднике. Тут же, в глубине комнаты, притулилась ключница. Барыня садится на ларь к столу, на котором разложены на блюдах остатки «вчерашнего», и между прочим в кастрюльке вчерашняя похлебка. Сбоку лежит немного новой провизии: солонина, гусиный полоток, телячья головка, коровье масло, яйца, несколько кусков сахара, пшеничная мука и т. п. Барыня начинает приказывать.

– Супец-то у нас, кажется, уж третий день? – спрашивает она, заглядывая в кастрюлю.

– Да, уж третий денек-с. Прокис-с.

– Ну, так и быть, сегодня новый завари. Говядина-то есть ли?

– Говядину последнюю извели.

– Как? кусочек, кажется, остался? Еще ты говорил: старому барину на котлетки будет.

– Третьего дня они две котлетки и скушали.

– И куда такая пропасть выходит говядины? Покупаешь-покупаешь, а как ни спросишь – все нет да нет... Делать нечего, курицу зарежь... Или лучше вот что: щец с солониной свари, а курица-то пускай походит... Да за говядиной в Мялово сегодня же пошлите, чтобы пуда два... Ты смотри у меня, старый хрыч. Говядинка-то нынче кусается... четыре рублика (ассигнациями) за пуд... Поберегай, не швыряй зря. Ну, горячее готово; на холодное что?

– Вчерашнего галантиру малость осталось, да тоже одно звание...

Анна Павловна рассматривает остатки галантира. Клейкая масса расплзлась по блюду, и из нее торчат обрывки мозгов и телячьей головки.

– А ты сумей подправить; на то ты повар. Старый-то галантир в формочки влей, а из новой головки свежего галантирцу сделай.

Барыня откладывает в сторону телячью голову и продолжает:

– Соусу вчерашнего тоже, кажется, не осталось... или нет, стой! печенка, что ли, вчера была?

– Печенка-с.

– Сама собственными глазами видела, что два куса на блюде остались! Куда они девались?

– Не знаю-с.

Барыня вскакивает и приближается к самому лицу повара.

– Сказывай! куда печенку девал?

– Виноват-с.

– Куда девал? сказывай!

– Собака съела... не досмотрел-с...

– Собака! Василисушке своей любезной скормил! Хоть роди да подай мне вчерашнюю печенку!

– Воля ваша-с.

Повар стоит и смотрит барыне в глаза. Анна Павловна с минуту колеблется, но наконец примиряется с совершившимся фактом.

– Ну, так соусу у нас нынче не будет, – решает она. – Так и скажу всем: старый хрен любовнице соус скормил. Вот ужо барин за это тебя на поклоны поставит.

Очередь доходит до жаркого. Перед барыней лежит на блюде баранья нога, до такой степени искобленная, что даже намек на мякоть нет.

– Ну, на нет и суда нет. Вчера Андрюшка из Москалева зайца привез; видно, его придется изжарить...

– Позвольте, сударыня, вам посоветовать. На погребе уж пять дней жареная телячья нога, на случай приезда гостей, лежит, так вот ее бы сегодня подать. А заяц и повисеть может.

Анна Павловна облизывает указательный палец и показывает повару шиш.

– На-тко!

– Помилуйте, сударыня, от телятины-то уж запахок пошел.

– Как запахок! на льду стоит всего пятый день, и уж запахок! Льду, что ли, у тебя нет? – строго обращается барыня к ключнице.

– Лед есть, да сами изволите знать, какая на дворе жарынь, – оправдывается ключница.

– Жарынь да теплынь... только и слов от вас! Вот я тебя, старая псовка, за индейками ходить пошлю, так ты и будешь знать, как барское добро гноить! Ну, ин быть так: телячью

ногу разогреть на сегодняшнее жаркое. Так оно и будет: посидим без соуса, зато телятинки побольше поедим. А на случай гостей новую ногу зажарить. Ах, уж эти мне гости! обопьют, объедят, да тебя же и обругают! Да еще хамов да хамок с собой навезут – всех-то напои, всех-то накорми! А что добра на лошадей ихних изойдет! Приедут шестериком... И сена-то им, и овса-то!

– Это уж известно...

– Да ты смотри, Тимошка, старую баранью ногу все-таки не бросай. Еще найдутся обрезочки, на винегрет пригодятся. А хлебного (пирожного) ничего от вчерашнего не осталось?

– Ничего-с.

– Ну, бабу из клубники сделай. И то сказать, без пути на погребу ягода плесневеет. Сахарцу кусочка три возьми да яичек парочку... Ну-ну, не ворчи! будет с тебя!

Анна Павловна велит отрубить кусок солонины, отделяет два яйца, три куса сахара, проводит пальцем черту на комке масла и долго спорит из-за лишнего золотника, который спрашивает повар.

По уходе повара она направляется к медному тазу, над которым утверждён медный же рукомойник с подвижным стержнем. Ключница стоит сзади, покуда барыня умывается. Мыло, которое она при этом употребляет, пахнет прокислым; полотенце простое, из домашнего холста.

– Что? Как оказалось? Липка тяжела? – спрашивает барыня.

– Не могу еще наверно сказать, – отвечает ключница, – должно быть, по видимостям, что так.

– Уж если... уж если она... ну, за самого что ни на есть нищего ее отдам! С Прошкой связалась, что ли?

– Видали их вместе. Да что, сударыня, вчерась беглого солдата во ржах заприметили.

При словах «беглый солдат» Анна Павловна бледнеет. Она прекращает умыванье и с мокрым лицом обращается к ключнице:

– Солдат? где? когда? отчего мне не доложили?

– Да тут недалечко, во ржах. Сельская Дашутка по грибы в Лисьи-Ямы шла, так он ее ограбил, хлеб, слышь, отнял. Дашутка-то его признала. Бывший великановский Сережка-фалетур... помните, еще старосту ихнего убить грозился.

– Что ж ты мне не доложила? Кругом беглые солдаты бродят, все знают, я одна ведаю не ведаю...

Барыня с простертыми дланями подступает к ключнице.

– Что ж мне докладывать – это старостино дело! Я и то ему говорила: доложи, говорю, барыне. А он: что зря барыне докладывать! Стало быть, беспокоить вас поопасился.

– Беспокоить! беспокоить! ах, нежности какие! А ежели солдат усадьбу сожжет – кто тогда отвечать будет? Сказать старосте, чтоб непременно его изловить! чтоб к вечеру же был представлен! Взять Дашутку и все поле осмотреть, где она его видела.

– Народ на сенокосе, – кто же ловить будет?

– Сегодня брат на брата работают. Своих, которые на барщине, не трогать, а которые на себя сенокосничают – пусть уж не прогневаются. Зачем беглых разводят!

Анна Павловна наскоро вытирается полотенцем и, слегка успокоенная, вновь начинает беседу с Акулиной.

– Куда сегодня кобыл-то наряжать? или дома оставить? – спрашивает она.

– Малина, сказывают, поспевать начала.

– Ну, так в лес за малиной. Вот в Лисьи-Ямы и пошли: пускай солдата по дороге ловят.

– Пообедавши идти?

– Дай им по ломтю хлеба с солью да фунта три толочна на всех – будет с них. Воротятся ужо, ужинать будут... успеют налопаться! Да за Липкой следи... ты мне ответишь, ежели что...

Покуда в девичьей происходят эти сцены, Василий Порфирыч Затрапезный заперся в кабинете и возится с просвирами. Он совершает проскомидию, как настоящий иерей: шепчет положенные молитвы, воздевает руки, кладет земные поклоны. Но это не мешает ему от времени до времени посматривать в окна, не прошел ли кто по двору и чего-нибудь не пронес ли. В особенности зорко следит его глаз за воротами, которые ведут в плодovitый сад. Теперь время ягодное, как раз кто-нибудь проползет.

– Куда, куда, шельмец, пробираешься? – раздается через открытое окно его окрик на мальчишку, который больше, чем положено, приблизился к тыну, защищающему сад от хищников. – Вот я тебя! чей ты? сказывай, чей?

Но мальчишка при первом же окрике исчез, словно сквозь землю провалился.

Барин делает полуоборот, чтоб снова стать на молитву, как взор его встречает жену старшего садовника, которая выходит из садовых ворот. Руки у нее заложены под фартук: значит, наверное, что-нибудь несет. Барин уж готов испустить крик, но садовница вовремя заметила его в окне и высвобождает руки из-под фартука; оказывается, что они пусты.

Василий Порфирыч слывет в околотке умным и образованным. Он знает по-французски и по-немецки, хотя многое позабыл. У него есть библиотека, в которой на первом плане красуется старый немецкий «Conversations-Lexicon»,⁸ целая серия академических календарей, Брюсов календарь, «Часы благоговения» и, наконец, «Тайны природы» Эккертгаузена. Последние составляют его любимое чтение, и знакомство с этой книгой в особенности ставится ему в заслугу. Сверх того, он слывет набожным человеком, заправляет всеми церковными службами, знает, когда нужно класть земные поклоны и умиляться сердцем, и усердно подтягивает дыячку за обедней.

Бьет восемь, на дворе начинает чувствоваться зной. Дети собрались в столовой, разместились на определенных местах и пьют чай. Перед каждым стоит чашка жидкого чая, предвзательно подслащенного и подбеленного снятым молоком, и тоненький ломоть белого хлеба. Разумеется, у любимчиков и чай послаще, и молоко погуще. За столом председательствует гувернантка, Марья Андреевна, и уже спозаранку выискивает, кого бы ей наказать.

– У меня, Марья Андреевна, совсем сахара нет, – объявляет Степка-балбес, несмотря на то, что вперед знает, что голос его будет голосом, вопиющим в пустыне.

– В таком случае оставайся совсем без чаю, – холодно отрезывает Марья Андреевна.

– Да вы попробуйте! вы не затем к нам наняты, чтоб оставлять без чая, а затем, чтоб выслушивать нас! – протестует Степан сквозь слезы.

– А! так я «нанята»! еще грубить смеет!.. без чаю!

– Без чаю да без чаю! только вы и знаете! а я вот возьму да и выпью!

– Не смеешь! Если б ты попросил прощения, я, может быть, простила бы, а теперь... без чаю!

Степан отодвигает чашку и смиряется.

– Позвольте хоть хлеб съесть! – просит он.

– Хлеб... можешь!

Таким образом, день только что начался, а жертва уже найдена.

Выпивши чай, дети скрываются в классную и садятся за учење. Им и в летние жары не дается отдыха.

Анна Павловна между тем в той же замавленной блузе, нечесаная, сидит в своей спальне и тоже кушает чай. Она любит пить чай одна, потому что кладет сахару вдоволь, и при этом ей подается горшочек с густыми топлеными сливками, на поверхности которых запеклась румяная пенка. Комната еще не выметена, горничная взбивает пуховики, в воздухе летают перья,

⁸ Словарь разговорных слов (нем.).

пух; мухи не дают покоя; но барыня привыкла к духоте, ей и теперь не душно, хотя на лбу и на открытой груди выступили капли пота. Перестилая постель, горничная рапортует:

– Что Липка с кузовком – это верно; и про солдата правду говорили: Сережка от Великановых. Кирюшка-столяр вчера ночью именины справлял, пьян напился и Марфу-кухарку напоил. Песни пели, барыню толстомясой честили...

– Где водку взяли? кто принес? откуда? сейчас же пойді призови обоих: и Кирюшку и Марфушку!

Горничная удаляется; Анна Павловна остается одна и предается размышлениям. Все-то живут в спокойе да в холе, она одна целый день как в котле кипит. За всем-то она присмотри! всем-то припаси, обо всем-то подумай! Еще восемь часов только, а уж какую пропасть она дел приделала! И кушанье заказала, и насчет девок распоряжение сделала, всех выслушала, всем ответ дала! Даже хамкам – и тем не в пример вольнее! Вот хоть бы Акулька-ключница – чем ей не житье! Сбегала на погреб, в кладовую, что следует – выдала, что следует – приняла... Потом опять сбегала. Или девки опять... Убежали теперь в лес по малину, дерут там песни, да аукаются, или с солдатом амурничают... и горюшка мало! В лесу им прохладненько, ни ветерок не венет, ни мушка не тронет... словно в раю! А устанут – сядут и отдохнут! Хлебца поедят, толоконца разведут... сытехоньки! А она целый день все на ногах да на ногах. И туда пойді, и там побывай, и того выслушай, и тем распорядись! И все одна, все одна. У других хоть муж помога – вон у Александры Федоровны, а у нее только слава, что муж! Сидит запершись в кабинете или бродит по коридору да по ляжкам себя хлопает! Глядитко-те, солдат беглый проявился, а им никому и горя нет. А что, ежели он в усадьбу заберется да подожжет или убьет... ведь на то он солдат! Или опять Кирюшка-подлец! Пьян напиток изволил! И где они вино достают? Беспременно это раскрыть надо.

Сидит Анна Павловна и все больше и больше проникается сожалением к самой себе и наконец начинает даже рассуждать вслух.

– И добро бы я кого-нибудь обидела, – говорит она, – кого бы нибудь обокрала, наказала бы занапрасно или изувечила, убила... ничего за мной этакого нет! За что только Бог забыл меня – ума приложить не могу! Родителей я, кажется, завсегда чтילה, а кто чтит родителей – тому это в заслугу ставится. Только мне одной – пшик вместо награды! Что чті, что не чті – все одно! Получила я от них, как замуж выдавали, грош медный, а теперь смотри, какое именье взбудрила! А все как? – все шей, да грудью, да хребтом! Сюда забежишь, там хвостом вильнешь... в опекунском-то совете со сторожами табак нюхивала! перед каким-нибудь ледащим приказным чуть не вприсядку плясала: «Только справочку, голубчик, достань!» Вот как я именья-то приобретала! И кому все это я припасую! Кто меня за мои труды отблагодарит! Так, прахом, все хлопоты пойдут... после смерти и помянуть-то никто не вздумает! И умру я одна-одинешенька, и похоронят меня... гроба-то, пожалуй, настоящего не сделают, так, колоду какую-нибудь... Намеднись спрашиваю Степку: рад будешь, Степка, ежели я умру?... Смеется... Так-то и все. Иной, пожалуй, и скажет: я, маменька, плакать буду... а кто его знает, что у него на душе!..

Неизвестно, куда бы завели Анну Павловну эти горькие мысли, если бы не воротилась горничная и не доложила, что Кирюшка с Марфушкой дожидаются в девичьей.

Через минуту в девичьей происходит обмен мыслей.

Прежде всего Анна Павловна начинает иронизировать.

– Так вот вы как, Кирилл Филатыч! винцо покушиваете? – говорит она, держась, впрочем, в некотором отдалении от обвиняемого.

Но Кирюшка не из робких. Он принадлежит к числу «закоснелых» и знает, что барыня давно уж готовит его под красную шапку.

– Пил-с, – спокойно отвечает он, как будто это так и быть должно.

– Именины изволили справлять?

- Так точно, был именинник.
- И Марфе Васильевне поднесли?
- И ей поднес. Тетка она мне...
- А где, позвольте узнать, вы вина достали?
- Стало быть, сорока на хвосте принесла.

Лицо Анны Павловны мгновенно зеленеет; губы дрожат, грудь тяжело дышит, руки трясутся. В один прыжок она подскакивает к Кирюшке.

– Не извольте драться, сударыня! – твердо предупреждает последний, отстраняя барынины руки.

– Сказывай, подлец, где вино взял? – кричит она на весь дом.

– Где взял, там его уж нет.

С минуту Анна Павловна стоит словно ошеломленная. Кирюшка, напротив, не только не изъявляет намерения попросить прощения, но продолжает смотреть ей прямо в глаза.

– Хорошо, я с тобой справлюсь! – наконец изрекает барыня. – Иди с моих глаз долой! А с тобой, – обращается она к Марфе, – расправа короткая! Сейчас же собирайся на скотную, индеек пасти! Там тебе вольготнее будет с именинниками вино распивать...

Аудиенция кончена. Деловой день в самом разгаре, весь дом приходит в обычный порядок. Василий Порфирыч роздал детям по микроскопическому кусочку просфоры, напился чаю и засел в кабинет. Дети зубрят уроки. Анна Павловна тоже удалилась в спальню, забыв, что голова у нее осталась нечесаною.

Она запирает дверь на ключ, присаживается к большому письменному столу и придвигает денежный ящик, который постоянно стоит на столе, против изголовья барыниной постели, так, чтоб всегда иметь его в глазах. В денежном ящике, кроме денег, хранится и деловая корреспонденция, которая содержится Анной Павловной в большом порядке. Переписка с каждой вотчиной завязана в особенную пачку; такие же особые пачки посвящены переписке с судами, с опекунским советом, с старшими детьми и т. д.

Прежде всего Анна Павловна пересчитывает кассу и убеждается, что вся сумма налично. Потом начинает развязывать пачки с перепискою. Проверяется, не забыто ли что, не требуется ли на что-нибудь ответ или приказ. Все это занимает много времени и выполняется без задержки. В этом отношении Анна Павловна смело может поставить себя в образец. У нее день очищается днем, и независимо от громадной памяти, сохраняющей всякую мелочь, на всякое распоряжение имеется оправдательный документ. И старосты и приказчики знают это и никогда не осмеливаются опровергать то, что она утверждает. Весь ход тяжёбных дел, которых у нее достаточно, она помнит так твердо, что даже поверенный ее сутяжных тайн, Петр Дормидонтыч Могильцев, приказный из местного уездного суда, ни разу не решался продать ее противной стороне, зная, что она чутьем угадает предательство.

Вообще Могильцев не столько руководит ее в делах, сколько выслушивает ее внушения, облакает их в законную форму и указывает, где, кому и в каком размере следует вручить взятку. В последнем отношении она слепо ему повинует, сознавая, что в тяжёбных делах лучше переложить, чем недоложить.

На этот раз дел оказывается достаточно, так как имеются в виду «оказии» и в Москву, и в одну из вотчин.

Анна Павловна берет лист серо-желтой бумаги и разрезывает его на четвертушки. Бумагу она жалеет и всю корреспонденцию ведет, по возможности, на лоскутках. Избегает она и почтовых расходов, предпочитая отправлять письма с оказией. И тут, как везде, наблюдается самая строгая экономия.

Перо ее быстро бежит по четвертушке. Лишних слов не допускается; всякая мысль выражена в приказательной форме, кратко и определенно, так, чтобы все нужное уместилось на лицевой стороне четвертушки. Затем письмо складывается на манер узелка и в свое

время отправляется по назначению, незапечатанное. Сургуч, как вещь покупная, употребляется только в крайних случаях. Ухитряются даже свой собственный сургуч готовить, вырезывая сургучные печати из получаемых писем и перетапливая их; но ведь и его не наготовишься, если зря тратить.

– Состояния-то и всё так составляются, – проповедует Анна Павловна, – тут копейку сбережешь, в другом месте урвешь – смотришь, и гривенничек!

А Василий Порфирыч идет даже дальше; он не только вырезывает сургучные печати, но и самые конверты сберегает: может быть, внутренняя, чистая сторона еще пригодится коротенькое письмецо написать.

Наконец все нужные дела прикончены. Анна Павловна припоминает, что она еще что-то хотела сделать, да не сделала, и наконец догадывается, что до сих пор сидит нечесаная. Но в эту минуту за дверьми раздается голос садовника:

– Скоро ли персики обирать будете? Сегодня паданцев два горшка набрал.

При этом напоминании мелькнувшая на мгновение мысль о необходимости причесаться – вновь оставляет Анну Павловну.

– Фу-ты, пропасть! – восклицает она, – то туда, то сюда! вздохнуть не дадут! Ступай, Сергеич; сейчас, следом же за тобой иду.

Садовником Анна Павловна дорожит и обращается с ним мягче, чем с другими дворовыми. Во-первых, он хранитель всей барской сласти, а во-вторых, она его *купила* и заплатила довольно дорого. Поэтому ей не расчет, ради минутного каприза, «ухлопать» затраченный капитал.

Выше уже было упомянуто, что Анна Павловна, отправляясь в оранжереи для сбора фруктов, почти всегда берет с собой кого-нибудь из любимчиков. Так поступает она и теперь.

– Ну, что, Марья Андреевна, как сегодня у вас Гриша? – спрашивает она, входя в класс.

Дети шумно отодвигают табуретки и наперерыв друг перед другом спешат подойти к маменькиной ручке.

– Сегодня мы похвастаться не можем, – жеманится Марья Андреевна, – из катехизиса – слабо, а из «Поэзии»⁹ – даже очень...

– Ну, вот видишь, а я иду в ранжереи и тебя хотела взять. А теперь...

– О нет! – поправляется Марья Андреевна, видя, что аттестация ее не понравилась Анне Павловне, – я надеюсь, что мы исправимся. Гриша! ведь ты к вечеру скажешь мне свой урок из «Поэзии»?

– Скажу-с, – весь красный и с глазами, полными слез, бормочет Гриша.

– В таком случае можешь отправиться с мамашей.

Гриша бросает на мамашу умоляющий взгляд.

– Что ж, ежели Марья Андреевна... встань и поцелуй у нее ручку! скажи: терсі, Марья Андреевна, что вы так милостивы... вот так.

И через две минуты балбесы и постылые уже видят в окно, как Гриша, подсакивая на одной ножке, спешит за маменькой через красный двор в обетованную землю.

Оранжереи довольно обширны. Два корпуса и в каждом несколько отделений, по сортам фруктов: персики, абрикосы, сливы, ренклоды (по-тогдашнему «венгерки»). Теплица и грунтовые сараи стоят особняком. Сверх того, при оранжерее имеется обширно и плотно обгороженное подстриженными елями пространство, называемое «выставкой» и наполненное рядами горшков, тоже с фруктами всех сортов. Рамы в оранжереях сняты, и воздух пропитан теплым, душистым паром созревающих плодов. От этого пара занимается дух. А солнце так и обливает сверху лучами, словно огнем. Сердце Анны Павловны играет: фруктов уродилось множество, и всё отличные. Садовник подает ей два горшка с паданцами, которые она пересчитывает и

⁹ Был особый предмет преподавания, «Поэзией» называемый.

перекладывает в другие порожние горшки. Фруктам в Малиновце ведется строгий счет. Как только персики начнут выходить в «косточку», так их тщательно пересчитывают, а затем уже всякий плод, хотя бы и не успевший дозреть, должен быть сохранен садовником и подан барыне для учета. При этом, конечно, допускается и урон, но самый незначительный.

Отделив помятые паданцы, Анна Павловна дает один персик Грише, который не ест его, а в один миг всасывает в себя и выплевывает косточку.

– Ах, маменька, как вкусно! – восклицает он в упоении, целуя у маменьки ручку, – как эти персики называются?

– Это персик ранжевый, а вот по отделениям пойдем, там и других персичков поедим. Кто меня любит – и я тех люблю; а кто не любит – и я тех не люблю.

– Ах, маменька! вас все любят!

– Я знаю, что ты добрый мальчик и готов за всех заступаться. Но не увлекайся, мой друг! впоследствии ой-ой как можешь раскаяться!

К шпалерам с задней стороны приставляются лестницы, и садовник с двумя помощниками влезает наверх, где персики зреее, чем внизу. Начинается сбор. Анна Павловна, сопровождаемая ключницей и горничной, с горшками в руках переходит из отделения в отделение; совсем спелые фрукты кладет особо; посырее (для варенья) – особо. Работа идет медленно, зато фруктов набирается масса.

– Вот это белобокие с кваском, а эти, с крапинками, я в Отраде прививочков достала да развела! – поучает Анна Павловна Гришу.

Сбор кончился. Несколько лотков и горшков нагружено верхом румяными, сочными и ароматическими плодами. Процессия из пяти человек возвращается восвояси, и у каждого под мышками и на голове драгоценная ноша. Но Анна Павловна не спешит; она заглядывает и в малинник, и в гряды клубники, и в смородину. Все уже созревает, а клубника даже к концу приходит.

– Малину-то хоть завтра обирай! – говорит она, всплескивая руками.

– Сегодня бы надо, а вы в лес девок угнали! – отвечает садовник.

– Как мы со всей этой прорвой управимся? – тоскует она. – И обирать, и чистить, и варить, и солить.

– Бог милостив, сударыня; девок побольше нагоните – разом очистят.

– Хорошо тебе, старый хрен, говорить: у тебя одно дело, а я целый день и туда и сюда! Нет, сил моих нет! Брошу все и уеду в Хотьков, Богу молиться!

– Ах, маменька! – восклицает Гриша, и две слезинки навертываются на его глазах.

Но Анна Павловна уже вступила в колею чувствительности и продолжает роптать. Непременно она бросит все и уедет в Хотьков. Построит себе келейку, огородец разведет, коровушку купит и будет жить да поживать. Смирнехонько, тихохонько; ни она никого не тронет, ни ее никто не тронет. А то на-тко! такая прорва всего уродилась, что и в два месяца вряд справиться, а у ней всего недели две впереди. А кроме того, сколько еще других дел – и везде она поспевай, все к ней за приказаниями бегут! Нет, будет с нее! надо и об душе подумать. Уедет она в Хотьков...

Все это она объясняет вслух и с удовольствием убеждается, что даже купленный садовник Сергеич сочувствует ей. Но в самом разгаре сетований в воротах сада показывается запыхавшаяся девчонка и объявляет, что барин «гневаются», потому что два часа уж пробило, а обед еще не подан.

Анна Павловна ускоряет шаг, потому что Василий Порфирыч на этот счет очень пунктуален. Он ест всего один раз в сутки и требует, чтоб обед был подан ровно в два часа. По настоящему, следовало бы ожидать с его стороны целой бури (так как четверть часа уже прошло за положенный срок), но при виде массы благоухающих плодов сердце старого барина растворяется. Он стоит на балконе и издали крестит приближающуюся процессию; наконец

сходит на крыльцо и встречает жену там. Да, это все *она* завела! Когда он был холостой, у него был крохотный сад, с несколькими десятками ягодных кустов, между которыми были рассажены яблони самых незатейливых сортов. Теперь – «заведение» господ Затрапезных чуть не первое в уезде, и он совершенно законно гордится им. Поэтому он не только не встречает Анну Павловну словами «купчиха», «ведьма», «черт» и проч., но, напротив, ласково крестит ее и прикладывает щекой к ее щеке.

– Этакую ты, матушка, махину набрала! – говорит он, похлопывая себя по ляжкам, – ну, и урожай же нынче! Так и быть, и я перед чаем полакомлюсь, и мне уделите персичек... вон хоть этот!

Он выбирает самый помятый персик, из числа паданцев, и бережно кладет его на порожний поддонник.

– Да возьми получше персик, – убеждает его Анна Павловна, – этот до вечера наполовину сгниет!

– Нет, нет, нет, будет с меня! А ежели и попортится, так я порченное местечко вырежу... Хорошие-то и на варенье пригодятся.

Обед, сверх обыкновения, проходит благополучно. И повару и прислуге как-то удается не прогневить господ; даже Степан-балбес ускользает от наказания, хотя отсутствие соуса вызывает с его стороны ироническое замечание: «Соус-то нынче, видно, курица украла». Легкомысленное это изречение сопровождается не наказанием, а сравнительно мягкой угрозой.

– Только рук сегодня марасть не хочется, – говорит Анна Павловна, – а уж когда-нибудь я тебя, балбес, за такие слова отшлепаю!

И только.

После обеда Василий Порфирыч ложится отдохнуть до шести часов вечера; дети бегут в сад, но ненадолго: через час они опять засядут за книжки и будут учиться до шести часов. Сама Анна Павловна удаляется в спальню и усталая грузно валится на постель. Но нынешний день уж такой выдался, что, видно, ей и отдохнуть не придется. Не прошло часу, как чуткое ее ухо уже слышало шум, и она, как встрепанная, вынырнула из пуховиков. От села шла целая толпа народа, впереди которой вели связанного человека. Это был пойманный беглый солдат. Анна Павловна прворно выскочила на девичье крыльцо.

Солдат изможден и озлоблен. На нем пестрядинные, до ключев истрепанные портки и почти истлевшая рубашка, из-за которой виднеется черное, как голенище, тело. Бледное лицо блестит крупными каплями пота; впалые глаза беспокойно бегают; связанные сзади в локтях руки бессильно сжимаются в кулаки. Он идет, понуждаемый толчками, и кричит:

– Я казенный человек – не смеете вы меня бить... Я сам, коли захочу, до начальства дойду... Не смеете вы! и без вас есть кому меня бить!

Но провожатые, озлобленные, что у них пропала, благодаря беглецу, лучшая часть дня для сенокоса, не убеждают его воплями и продолжают награждать его тумачами.

– Добро, добро! – раздается в толпе, – ужо барыня тебя на все четыре стороны пустит, а теперь пошевеливайся-ко, поспевай!

Барыня между тем уже вышла на крыльцо и ждет. Все наличные домочадцы высыпали на двор; даже дети выглядывают из окна девичьей. Вдали, по направлению к конюшням, бежит девчонка с приказанием нести скорее колодки.

– Ну-ка, иди, казенный человек! – по обыкновению, начинает иронизировать Анна Павловна. – Фу-ты, какой фронт! да, никак, и впрямь это великановский Сережка... извините, не знаю, как вас по отчеству звать... Поверните-ка его... вот так! как раз по последней моде одет!

– Я казенный человек! – продолжает бессмысленно орать солдат, – не смеете вы меня...

– Знаем мы, что ты казенный человек, затем и сторожу к тебе приставили, что казенное добро беречь велено. Ужо оденем мы тебя как следует в колодки, нарядим подводу, да

и отправим в город по холодку. А оттуда тебя в полк... да сквозь строй... да розочками, да палочками... как это в песне у вас поется?..

– «Пройдись, пройдись, молодец, сквозь зеленые леса!» – отвечает из толпы голос отставного солдата.

– Слышишь? Ну, вот, мы так и сделаем: нарядим тебя, милой дружок, в колодки, да вечером по холодку...

– Я казен... – начинает опять солдат, но голос его внезапно прерывается. Напоминанье о «сквозь строе», по-видимому, вносит в его сердце некоторое смущение. Быть может, он уже имеет довольно основательное понятие об этом угощении, и повторение его (в усиленной пропорции за вторичный побег) не представляет в будущем ничего особенно лестного.

– Матушка ты моя! заступница! – не кричит, а как-то безобразно мычит он, рухнувшись на колени, – смилуйся ты над солдатом! Ведь я... ведь мне... ах, Господи! да что ж это будет! Матушка! да ты посмотри! ты на спину-то мою посмотри! вот они, скулы-то мои... Ах ты, Господи милосливый!

Но Анна Павловна не раз уже была участницей подобных сцен и знает, что они представляют собой одну формальность, в конце которой стоит неизбежная развязка.

– Не властна я, голубчик, и не проси! – резонно говорит она, – кабы ты сам ко мне не пожаловал, и я бы тебя не ловила. И жил бы ты поживал тихохонько да смирнехонько в другом месте... вот хоть бы ты у экономических... Тебе бы там и хлебца, и молочка, и яишенки... Они люди вольные, сами себе господа, что хотят, то и делают! А я, мой друг, не властна! я себя помню и знаю, что я тоже слуга! И ты слуга, и я слуга, только ты неверный слуга, а я – верная!

– Матушка! да взгляни ты...

– Нет, ты пойми, что ты сделал! Ведь ты, легко сказать, с царской службы бежал! С царской! Что, ежели вы все разбежитесь, а тут вдруг француз или турок... глядь-поглядь, а солдатушки-то у нас в бегах! С кем мы тогда навстречу лиходеям нашим пойдем?

– Заступница!

– Нет-нет-нет... Или, опять, то возьми: видишь, сколько мужичков тебя ловить согнали, а ведь они через это целый день работы потеряли! А время теперь горячее, сенокос! Целый день ловили тебя, а вечером еще подводу под тебя нарядить надо, да двоих провожатых... Опять у мужичков целые сутки пропали, а не то так и двои! Какое ты, подлец ты этакой, право имел всю эту кутерьму затевать! – вдруг раздражается она гневно. – Эй, что там копаются! забить ему руки-ноги в колодки! Ишь мерзавец! на спину его взгляни! Да коли ты казенный человек – стало быть, и спина у тебя казенная, – вот и вся недолга!

Подбегают два конюха, валят солдата на землю и начинают набивать ему колодки на руки и на ноги! Колодки разошлись и мучительно сжимают солдату кости.

– Колодки! колодки забивают! – раздаются из окон детские голоса.

– Ишь печальник нашелся! – продолжает поучать Анна Павловна, – уж не на все ли четыре стороны тебя отпустить? Сделай милость, вору, голубчик, поджигай, грабь! Вот уж в городе тебе покажут... Скажите на милость! целое утро словно в котле кипела, только что отдохнуть собралась – не тут-то было! солдата нелегкая принесла, с ним валандаться изволь! Прочь с моих глаз... поганец! Уведите его да накормите, а не то еще издохнет, чего доброго! А часам к девяти приготовить подводу – и с богом!

Сделавши это распоряжение, Анна Павловна возвращается восвояси, в надежде хоть на короткое время юркнуть в пуховики; но часы уже показывают половину шестого; через полчаса воротятся из лесу «девки», а там чай, потом староста... Не до спать!

– Брысь, пострелята! Еще ученье не кончилось, а они на-тко куда забрались! вот я вас! – кричит она на детей, все еще скучившихся у окна в девичьей и смотрящих, как солдата, едва ступающего в колодках, ведут по направлению к застольной.

Она уходит в спальню и садится к окну. Ей предстоит целых полчаса праздных, но на этот раз ее выручает кот Васька. Он тихо-тихо подкрадывается по двору за какой-то добычей и затем в один прыжок настигает ее. В зубах у него замерла крохотная птица.

– Ишь ведь, мерзавец, все птиц ловит – нет чтобы мышь! – ропщет Анна Павловна. – От мышей спасенья нет, и в амбарах, и в погребке, и в кладовых тучами ходят, а он все птиц да птиц. Нет, надо другого кота завести!

Несмотря, однако ж, на негодование, которое возбуждает в ней Васька своим поведением, она не без интереса смотрит на игру, которую кот заводит с изловленной птицей. Он несет свою жертву в зубах на край дороги и выпускает ее изо рта. Птица еще жива, но уже совсем безнадежно кивает головкой и еле-еле шевелит помятыми крылышками. Васька то отбежит в сторону и начинает умывать себе морду лапкой, то опять подскочит к своей жертве, как только она сделает какое-нибудь движение. Куснет ее слегка за крыло и опять отбежит. Маневр этот повторяется несколько раз сряду, пока Васька, как бы из опасения, чтоб птица в самом деле не издохла, не решается перекусить ей горло. Начинается процесс ошипыванья.

– Ах, злец! ах, подлец! – шепчет Анна Павловна, – ишь ведь что делает... мучитель! А что вы думаете, ведь и из людей такие же подлецы бывают! То подскочит, то отбежит; то куснет, то отдохнуть даст. Я помню, один палатский секретарь со мной вот этак же играл. «Вы, говорит, полагаете, что ваше дело правое, сударыня?» – Правое, говорю. – «Так вы не беспокойтесь; коли ваше дело правое, мы его в вашу пользу и решим. Наведитесь через недельку!» А через недельку опять: «Так вы думаете...» Трет да мнет. Водил он меня, водил, сколько деньжищ из меня в ту пору выудил... Я было к столоначальнику: что, мол, это за игра такая? А он в ответ: «Да уж потерпите; это у него характер такой!.. не может без того, чтоб спервоначалу не измучить, а потом вдруг возьмет да в одночасье и решит ваше дело». И точно: решил... в пользу противной стороны! Я к нему: – что же вы, Иван Иванович, со мной сделали? А он только хохочет... наглец! «Успокойтесь, сударыня, говорит, я такое решение написал, что сенат беспреречно его отменит!» Так вот какие люди бывают! Свяжут тебя по рукам, по ногам, да и бьют, сколько вздумается!

Наконец Васька ошипал птицу и съел. Вдали показываются девушки с лукошками в руках. Они поют песни, а некоторые, не подозревая, что глаз барыни уже заприметил их, черпают в лукошках и едят ягоды.

– Ишь жрут! – ворчит Анна Павловна, – кто бы это такая? Аришка долговязая – так и есть! А вон и другая! так и уписывает за обе щеки, так и уписывает... беспреречно это Наташка... Вот я вас ужо... ошпарю!

Через десять минут девичья полна, и производится прием ягоды. Принесено немного; кто принес пол-лукошка, а кто и совсем на доньшке. Только карлица Польша принесла полное лукошко.

– Что так, красавицы! Всего-навсе только десять часов по лесу бродили, а какую пропасть принесли?

– Совсем еще ягоды мало поспело, – оправдываются девушки.

– Так. А Польша отчего же полное лукошко набрала?

– Стало быть, ей посчастливилось.

– Так, так. А ну-тко, открой хайло, дохни на меня, долговязая!

Аришка подходит к барыне и дышит ей в лицо.

– Что-то малинкой попахивает! Ну-тко, а ты, Наташка! Подходи, голубушка, подходи!

Наташка делает то же, что и Аришка.

– Чудо! Для господ ягода не поспела, а от них малиной так и разит!

– Ей-богу, сударыня...

– Не божитесь. Сама из окна видела. Видела собственными глазами, как вы, идучи по мосту, в хайло себе ягоды пихали! Вы думаете, что барыня далеко, а она – вот она! Вот вам за это! вот вам! Завтра целый день за пяльцами сидеть!

Раздается треск пощечин. Затем малина сыпается в одно лукошко и сдается на погреб, а часть отделяется для детей, которые уже отучились и бегают по длинной террасе, выстроенной вдоль всей лицевой стороны дома.

Бьет семь часов. Детей оделили лакомством; Василию Порфирычу тоже поставили на чайный стол давешний персик и немножко малины на блюдечке. В столовой кипит самовар; начинается чаепитие тем же порядком, как и утром, с тою разницей, что при этом присутствуют и барин с барыней. Анна Павловна осведомляется, хорошо ли учились дети.

– Сегодня у нас счастливый день выдался, – аттестует Марья Андреевна, – даже Степан Васильич – и тот хорошо уроки отвечал.

– Ну, пей чай! – обращается Анна Павловна к балбесу, – пейте чай все... живо! Надо вас за прилежание побаловать; сходите с ними, голубушка Марья Андреевна, погуляйте по селу! Пускай деревенским воздухом подышат!

Анна Павловна и Василий Порфирыч остаются с глазу на глаз. Он медленно проглатывает малинку за малинкой и приговаривает: «Новая новинка – в первый раз в нынешнем году! раненько поспела!» Потом так же медленно берется за персик, вырезывает загнивший бок и, разрезав остальное на четыре части, не торопясь, кушает их одну за другой, приговаривая: «Вот хоть и подгнил маленько, а сколько еще хорошего места осталось!»

У Анны Павловны сердце так и кипит, видя, как он копается.

Старик, очевидно, в духе и собирается покалякать о том, о сем, а больше ни о чем. Но Анну Павловну так и подмывает уйти. Она не любит празднословия мужа, да ей и некогда. Того гляди, староста придет, надо доклад принять, на завтра распоряжение сделать. Поэтому она сидит как на иголках и в ту минуту, как Василий Порфирыч произносит:

– Разно бывает: иной год на малину урожай, иной – на клубнику. А иногда яблоков уродится столько, что обору нет... как Богу угодно...

Она грузно встает с кресла, чтоб удалиться.

– Что, уж и поговорить-то со мной не хочешь! – обижается старик, – ах, дьявол! именно дьявол!

– Некогда мне тебя слушать! – равнодушно отвечает Анна Павловна, уходя, – у меня делов по горло, не время с тобой на бобах разводить!

– Черт! дьявол! – гремит ей вслед Василий Порфирыч, но сейчас же стихает и обращается уже к лакею Коняшке, который стоит за его стулом в ожидании приказаний.

– Так-то, брат! – говорит он ему, – прошлого года рожь хорошо родилась, а нынче рожь похуже, зато на овес урожай. Конечно, овес не рожь, а все-таки лучше, что хоть что-нибудь есть, нежели ничего. Так ли я говорю?

– Точно так, сударь.

Василий Порфирыч сам заваривает чай в особливом чайнике и начинает пить, переговариваясь с Коняшкой, за отсутствием других собеседников.

Дети тем временем, сгруппировавшись около гувернантки, степенно и чинно бредут по поселку. Поселок пустынен, рабочий день еще не кончился; за молодыми барами издали следует толпа деревенских ребятишек.

Дети перекидываются замечаниями.

– Вон Антипка какую избу взбодрил, а теперь она пустая стоит! – рассказывает Степан, – бедный был и пил здорово, да икону откуда-то добыл – с тех пор и пошел разживаться. И пить перестал, и деньги проявились. Шире да шире, четверку лошадей завел, одна другой лучше, коров, овец, избу эту самую выстроил... Наконец на оброк выпросился, торговать стал... Мать только дивилась: откуда на Антипку пошло-поехало? Вот и скажи ей кто-то: такая, мол, у

Антипка икона есть, которая ему счастье приносит. Она взяла да и отняла. Антипка-то в ту пору в ногах валялся, деньги предлагал, а она одно твердит: «Тебе все равно, какой иконе Богу ни молиться...» Так и не отдала. С тех пор Антипка опять захудал. Стал пить, тосковать, день ото дня хуже да хуже... Теперь хороший-то дом пустует, а он с семейством сзади в хибарке живет. С нынешнего года опять на барщину посадили, а с неделю тому назад уж и на конюшне наказывали...

– А вот Катькина изба, – отзывается Любочка, – я вчера ее из-за садовой решетки видела, с сенокоса идет: черная, худая. «Что, Катька, спрашиваю: сладко за мужиком жить?» – «Ничего, говорит, буду-таки за вашу маменьку Бога молить. По смерть ласки ее не забуду!»

– Изба-то у ней... посмотрите! бревна живого нет!

– И поделом ей, – решает Сонечка, – ежели бы все девушки...

В таких разговорах проходит вся прогулка. Нет ни одной избы, которая не вызвала бы замечания, потому что за всякой числится какая-нибудь история. Дети не сочувствуют мужичку и признают за ним только право терпеть обиду, а не роптать на нее. Напротив, поступки мамыши, по отношению к крестьянам, встречают их безусловное одобрение. Они называют ее «молодцом», говорят, что у ней «губа не дура» и что, если бы не она, сидели бы они теперь при отцовских трехстах шестидесяти душах. Даже голос постылого «балбеса» сливается в общем хвалебном хоре – до такой степени все поражены цифрой три тысячи душ, которыми теперь владеют Затрапезные.

– Этакую махиницу соорудила! – восторженно восклицает Степан.

– И мы должны вечно ее за это благодарить! – отзывается Гриша.

– Что бы мы без нее были! – продолжает восторгаться балбес, – так, какие-то Затрапезные! «Сколько у вас душ, господин Затрапезный?» – «Триста шестьдесят-с...» Ах, ты!

– Вот теперь вы правильно рассуждаете, – одобряет детей Марья Андреевна, – я и маменьке про ваши добрые чувства расскажу. Ваша маменька – мученица. Папенька у вас старый, ничего не делает, а она с утра до вечера об вас думает, чтоб вам лучше было, чтоб будущее ваше было обеспечено. И, может быть, скоро Бог увенчает ее старания новым успехом. Я слышала, что продается Никитское, и маменька уже начала по этому поводу переговоры.

Известие это производит фурор. Дети прыгают, бьют в ладоши, визжат.

– Ведь в Никитском-то с деревнями пятьсот душ! – восклицает Степан. – Ай да мамахен!

– Четыреста восемьдесят три, – поправляет брата Гриша, которому уже нечто известно об этих переговорах, но который покуда еще никому не выдавал своего секрета.

Солнце уже догорело; в дом проникают сумерки, а в девичьей даже порядочно темно. Девушки сошлись около стола и хлеблют пустые щи. Тут же, на ларе, поджавши ноги, присела Анна Павловна и беседует с старостой Федотом. Федоту уже лет под семьдесят, но он еще бодр, и ежели верить мужичкам, то рука у него порядочно-таки тяжела. Он чинно стоит перед барыней, опершись на клюку, и неторопливо отвечает на ее вопросы. Анна Павловна любит старосту; она знает, что он не потатчик и что клюка в его руках не бездействует. Сверх того, она знает, что он из немногих, которые сознают себя воистину крепостными, не только за страх, но и за совесть. В хозяйственных распоряжениях она уважает его опытность и нередко изменяет свои распоряжения, согласно с его советами. Короче сказать, это два существа, которые вполне сошлись сердцами и между которыми очень редко встречаются недоумения.

– Что, кончили в Шилове? – спрашивает Анна Павловна.

– Остатний стог дометывали, как я уходил. Наказал без того не расходиться, чтобы не кончить.

– Хорошо сено-то?

– Сено нынче за редкость: сухое, звонкое... Не слышим только много его, а уж уборка такая – из годов вон!

– Боюсь, достанет ли до весны?

– Как сказать, сударыня... как будем кормить... Ежели зря будем скотине корм бросать – мало будет, а ежели с расчетом, так достанет. Коровам-то можно и яровой соломки подавывать, благо нынче урожай на овес хорош. Упреждал я вас в ту пору с пустошами погодить, не все в кортому сдавать...

– Ну, уж прости Христа ради! Как-нибудь обойдемся... На завтра какое распоряжение сделаешь?

– Мужиков-то в Владыкино бы косить надо нарядить, а баб беспрерменно в Игумново рожь жать послать.

– Жать! что больно рано?

– Год ноне ранний. Все сразу. Прежде об эту пору еще и звания малины не бывало, а нонче все малинники усыпаны спелой ягодой.

– А мне мои фрелины на доньшке в лукошках принесли.

– Не знаю; нужно бы по целому, да и то не убрать.

– Слышите? – обращается Анна Павловна к девицам. – Стало быть, мужикам завтра – косить, а бабам – жать? все, что ли?

Староста мнетя, словно не решается говорить.

– Ещё что-нибудь есть? – встревоженно спрашивает барыня.

– Есть дельце... да нужно бы его промеж себя рассудить...

Анна Павловна заранее бледнеет и чуть не бегом направляется в спальню.

– Что там еще? сказывай! говори!

– Да мертвое тело на нашей земле проявилось, – шепотом докладывает Федот.

– Вот так денек выбрался! Давеча беглый солдат, теперь мертвое тело... Кто видел? где? когда?

– Да Антон мяловский видел. «Иду я, говорит, – уж солнышко книзу пошло – лесом около великановской межи, а „он“ на березовом суку и висит».

– Висельник?

– Стало быть, висельник.

– А другие знают об этом?

– Зачем другим сказывать! Я Антону строго-настрога наказывал, чтоб никому ни гугу. Да не угодно ли самим Антона расспросить. Я на всякий случай его с собой захватил...

– Не нужно. Так вот что ты сделай. Ты говоришь, что мертвое тело в лесу около великановской межи висит, а лес тут одинаковый, что у нас, что у Великановых. Так возьми сейчас Антошку, да еще на подмогу ему Михайлу сельского, да сейчас же втроем этого висельника с нашей березы снимите да и перевесьте за великановскую межу, на ихнюю березу. А завтра, чуть свет, опять сходите, и ежели окажутся следы ног, то всё как следует сделайте, чтоб не было заметно. Да и днем посматривайте: пожалуй, великановские заметят да и опять на нашу березу перенесут. Да смотри у меня: ежели кто-нибудь проведаст – ты в ответе! Устал ты, поди, старик, день-то маявшишь, – ну, да уж нечего делать, постарайся!

– Ничего, сударыня, день работали, и ночь поработаем! С устатку-то любехонько!

Доклад кончен; ключница подает старосте рюмку водки и кусок хлеба с солью. Анна Павловна несколько времени стоит у окна спальни и вперяет взор в сгустившиеся сумерки. Через полчаса она убеждается, что приказ ее отчасти уже выполнен и что с села пробираются три тени по направлению к великановской меже.

Наконец в столовой раздается лязганье тарелок и ложек.

Докладывают, что ужин готов. Ужин представляет собой повторение обеда, за исключением пирожного, которое не подается. Анна Павловна зорко следит за каждым блюдом и замечает, сколько уцелело кусков. К великому ее удовольствию, телятины хватит на весь завтрашний день, щец тоже порядочно осталось, но с галантиром придется проститься. Ну, да ведь и

то сказать – третий день галантир да галантир! можно и полоточком полакомиться, покуда не испортились.

Рабочий день кончился. Дети целуют у родителей ручки и проворно взбегают на мезонин в детскую. Но в девичьей еще слышно движение. Девушки, словно заколдованные, сидят в темноте и не ложатся спать, покуда голос Анны Павловны не снимет с них чары.

– Ложитесь! – кричит она им, проходя в спальню.

На сон грядущий она отпирает денежный ящик и удостоверяется, все ли в нем лежит в том порядке, в котором она всегда привыкла укладывать. Потом она припоминает, не забыла ли чего.

– Никак, я сегодня не причесывалась? – спрашивает она горничную.

– Не причесывались и есть...

– Вот так оказия! А впрочем, и то сказать, целый день туда да сюда... Поневоле замотаешься! Как бы и завтра не забыть! Напомни.

Она снимает с себя блузу, чехол и исчезает в пуховиках. Но тут ее настигает еще одно воспоминание:

– Ах, да ведь я и лба-то сегодня не перекрестила... ах, грех какой! Ну, на этот раз Бог простит! Сашка! подтычь одеяло-то... плотнее... вот так!

Через четверть часа весь дом спит мертвым сном.

Так проходит летний день в господской усадьбе. Зимой, под влиянием внешних условий, картина видоизменяется, но, в сущности, крепостная страда не облегчается, а, напротив, даже усиливается. Краски сгущаются, мрак и духота доходят до крайних пределов.

Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, – с другой, называлась... жизнью?!

V. Первые шаги на пути к просвещению

Как начали ученье старшие братья и сестры – я не помню. В то время, когда наша домашняя школа была уже в полном ходу, между мною и непосредственно предшествовавшей мне сестрой было разницы четыре года, так что волей-неволей пришлось воспитывать меня особо.

Дети в нашей семье разделялись на три группы. Старшие брат и сестра составляли первую группу и были уже отданы в казенные заведения. Вторую группу составляли два брата и три сестры-погодки, и хотя старшему брату, Степану, было уже четырнадцать лет в то время, когда сестре Софье минуло только девять, но и первый и последняя учились у одних и тех же гувернанток. Несомненно, что предметы преподавания были у них разные, но как ухитрились согласовать эту разноголосицу за одним и тем же классным столом – решительно не понимаю.

Брат Степан был чем-то вроде изгоя в нашем обществе. С ним не только обращались сурово, но даже не торопились отдать в заведение (старшего брата отдали в московский университетский пансион по двенадцатому году), чтоб не платить лишних денег за его воспитание. К счастью, у него были отличные способности, так что когда матушка наконец решилась взять его в Москву, то он выдержал экзамен в четвертый класс того же пансиона. С ним вместе отдали в один из московских институтов и двух сестер постарше: Верочку и Любочку. Затем, через год, тем же порядком исчезли из дома Григорий и Софья.

Осталась дома третья группа или, собственно говоря, двое одиночек: я да младший брат Николай, который был совсем еще мал и на которого матушка, с отъездом Гриши, перенесла всю свою нежность. Что же касается до меня лично, то я, не будучи «постылым», не состоял и в числе любимчиков, а был, как говорится, ни в тех, ни в сех. Вообще я прожил детство как-то незаметно и не любил попадаться на глаза, так что когда матушка случайно встречала меня, то и она словно недоумевала, каким образом я очутился у ней на дороге.

Я помню, что, когда уехали последние старшие дети, отъезд этот произвел на меня гнетущее впечатление. Дом вдруг словно помертвел. Прежде хоть плач слышался, а иногда и детская возня; мелькали детские лица, происходили судбища, расправы – и вдруг все разом опустело, замолчало и, что еще хуже, наполнилось какими-то таинственными шепотами. Даже для обеда не раздвигали стола, потому что собиралось всего пять человек: отец, мать, две тетки и я.

Несколько дней сряду я ходил по опустелым комнатам, где прежде ютились братья и сестры, и заглядывал во все углы. И долго мне чудилось, что кто-то меня зовет, и я озирался кругом, в надежде встретить знакомое лицо. Но это было своего рода марево, которое только увеличивало тоску одиночества. Становилось жутко в этих замолчавших комнатах, потому что безмолвие распространилось не только на детские помещения, но и на весь дом. Не говоря об отце, который продолжал вести свою обычную замкнутую жизнь, даже матушка как-то угомонилась с отъездом детей и, затворившись в спальне, или щелкала на счетах и писала, или раскладывала гранпасьянс.

Тем не менее, так как я был дворянский сын, и притом мне минуло уже семь лет, то волей-неволей приходилось подумать о моем ученье.

Но я рос один, а для одного матушке изъясниться не хотелось. Поэтому она решилась не нанимать гувернантки, а, в ожидании выхода из института старшей сестры, начать мое обучение с помощью домашних средств.

Считаю, впрочем, не лишним оговориться. Болтать по-французски и по-немецки я выучился довольно рано, около старших братьев и сестер, и, помнится, гувернантки, в дни именин и рождений родителей, заставляли меня говорить поздравительные стихи; одни из этих стихов и теперь сохранились в моей памяти. Вот они:

On dit assez communément

Qu'en parlant de ce que l'on aime,
Toujours on parle йloquemment.
Je n'approuve point ce systime,
Car moi qui voudrais en ce jour
Vous prouver ma reconnaissance,
Mon coeur est tout брылант d'amour,
Et ma bouche est sans йloquence.¹⁰

Но ни читать, ни писать ни по-каковски, даже по-русски, я не умел.

И вот, вскоре после отъезда старших детей, часов в десять утра, отслужили молебен и приказали мне идти в классную. Там меня ждал наш крепостной живописец Павел, которому и поручили обучить меня азбуке.

Как сейчас вижу я перед собой этого Павла. То был высокий, худой и, кажется, чахоточный человек, с бледным, осунувшимся лицом и светлыми, желтоватыми волосами на голове. Ступал он бережно, говорил чуть слышно, никогда никому не прекословил и отличался чрезвычайной набожностью. Обучался он живописи в Суздале, потом ходил некоторое время по оброку и работал по монастырям; наконец матушка рассудила, что в четырех-пяти церквях, которые находились в разных ее имениях, и своей работы достаточно. Вследствие этого Павел был взят в дом, где постоянно писал образа, а по временам ему поручали писать и домашние портреты, которые он, впрочем, потрафлял очень неудачно. Отец любил его чрезвычайно, частенько захаживал к нему в мастерскую и руководил его работами. Матушка тоже его «не трогала». Жена его, происхождением из мещанок (решилась закрепить ради Павла), была тоже добрая, кроткая и хворая женщина. И ее «не трогали» и не угнетали работой, но так как она умела печь белый хлеб, то определили пекаршей при доме и просвирней при церкви. Вообще им жилось легче, чем другим; даже когда мясчина была нарушена, за ними сохранили ее и отвели им особую комнату в нижнем этаже дома.

Павел явился в класс приодетый: в желтом фризovém сюртуке и в белом галстуке на шее. В руках у него была азбука и красная «указка». Учил он меня по-старинному: «азами». На первой странице «азы» были напечатаны крупным шрифтом, и каждая буква была снабжена соответствующей картинкой: Аз – арбуз, Буки – барин, Веди – Вавило и т. д. На следующих страницах буквы были напечатаны все более и более мелким шрифтом; за буквами следовали склады, одногласные, двугласные, трехгласные, потом слова и наконец целые изречения нравоучительного свойства. Этим азбука оканчивалась, а вместе с ней оканчивалась и Павлова «наука».

Азбуку я усвоил быстро; отчетливо произносил склады даже в таком роде, как *мря, нря, цря, чря* и т. д., а недели через три уже бойко читал нравоучения.

Павел доложил матушке, что я готов, и я в ее присутствии с честью выдержал свой первый экзамен. Матушка осталась довольна, но затем последовал вопрос:

- А дальше как?
- Дальше уж как угодно.
- Да ведь писать, чай, надо?

Оказалось, что Павел хоть и знал гражданскую печать, но писать по-гражданскому не разумел. Он мог писать лишь полууставом, насколько это требовалось для надписей к образам...

Весь этот день я был радостен и горд. Не сидел, по обыкновению, притаившись в углу, а бегал по комнатам и громко выкрикивал: «Мря, нря, цря, чря!» За обедом матушка давала

¹⁰ Существует мнение, что о том, кого любят, говорят всегда красноречиво. Я считаю это неверным, потому что хотел бы сегодня выразить вам свою благодарность, но сердце мое пылает любовью, а уста мои лишены красноречия (*фр.*).

мне лакомые куски, отец погладил по голове, а тетеньки-сестрицы, гостившие в то время у нас, подарили целую тарелку с яблоками, турецкими рожками и пряниками. Обыкновенно они дельвали это только в дни именин.

Но матушка задумалась. Она мечтала, что приставит ко мне Павла, даст книгу в руки, и учење пойдет само собой, – и вдруг, на первом же шагу, расчеты ее рушились...

Тем не менее, как женщина изобретательная, она нашлась и тут. Вспомнила, что от старших детей остались книжки, тетрадки, а в том числе и прописи, и немедленно перебрала весь учебный хлам. Отыскав прописи, она сама разлиновала тетрадку и, усадив меня за стол в смежной комнате с своей спальней, указала, насколько могла, как следует держать в руках перо.

– Видишь, вот палки... с них и копируй! Сначала по палкам выучись, а потом и дальше пойдешь, – сказала она, уходя.

Я помню, что этот первый опыт писания самоучкой был очень для меня мучителен. Перо вертелось между пальцами, а по временам и вовсе выскользало из них; чернил зачерпывалось больше, чем нужно; не прошло четверти часа, как разлинованная четвертушка уже была усеяна кляксами; даже верхняя часть моего тела как-то неестественно выгнулась от напряжения. Сверх того, я слышал поблизости шорох, который производила матушка, продолжая рыться в учебных программах, и – при одной мысли, что вот-вот она сейчас нагрянет и увидит мои проказы, у меня душа уходила в пятки.

Целый час я проработал таким образом, стараясь утвердить пальцы и вывести хоть что-нибудь похожее на палку, изображенную в лежавшей передо мною прописи; но пальцы от чрезмерных усилий все меньше и меньше овладевали пером. Наконец матушка вышла из своего убежища, взглянула на мою работу и, сверх ожидания, не рассердилась, а только сказала:

– Вот так огород нагородил! Ну, ничего, и всегда так начинают. Вот она, палочка-то! кажется, мудрено ли ее черкнуть, а выходит, что привычка да и привычка нужна! Главное, старайся не тискать перо между пальцами, держи руку вольно, да и сам сиди вольнее, не пригибайся. Ну, ничего, ничего, не конфузья! Бог милостив! ступай, побегай!

Недели с три каждый день я, не разгибая спины, мучился часа по два сряду, покуда наконец не достиг кой-каких результатов. Перо вертелось уже не так сильно; рука почти не ерзала по столу; клякс становилось меньше; ряд палок уже не представлял собой расшатавшейся изгороди, а шел довольно ровно. Словом сказать, я уже начал мечтать о копировании палок с закругленными концами.

Как и прочих братьев, матушка предположила поместить меня в московский университетский пансион, состоявший из осьми классов и одного приготовительного. Требования для поступавших в приготовительный класс были самые ограниченные. Из Закона Божия – Ветхий завет до «царей» и знание главнейших молитв; из русского языка – правильно читать и писать и элементарные понятия о частях речи; из арифметики – первые четыре правила. Ни географии, ни истории, ни иностранных языков при испытании не требовалось. В голове матушки мелькнула мысль, не отдать ли меня в приготовительный класс? Для этого следовало только пригласить из соседнего села Рябова священника, который в течение времени, оставшегося до приемных экзаменов, конечно, успеет приготовить меня.

Но когда она вспомнила, что при таком обороте дела ей придется платить за меня в течение девяти лет по шестисот рублей ассигнациями в год, то испугалась. Высчитавши, что платежи эти составят, в общей сложности, круглую сумму в пять тысяч четыреста рублей, она гневно щелкнула счетами и даже с негодованием отодвинула их от себя.

– Держи карман! – крикнула она, – и без того семь балбесов на шее сидят, каждый год за них с лишком четыре тысячи рубликов вынь да положи, а тут еще осмой явится!

Руководясь этим соображением, она решила до времени ничего окончательного не предпринимать, а ограничиться, в ожидании приезда старшей сестры, приглашением рябовского священника. А там что будет.

– Вот тебе книжка, – сказала она мне однажды, кладя на стол «Сто двадцать четыре истории из Ветхого завета», – завтра рябовский поп придет, я с ним переговорю. Он с тобой займется, а ты все-таки и сам просматривай книжки, по которым старшие учились. Может быть, и пригодятся.

Рябовский священник приехал. Довольно долго он совещался с матушкой, и результатом этого совещания было следующее: три раза в неделю он будет наезжать к нам (Рябово отстояло от нас в шести верстах) и посвящать мне по два часа. Плата за ученье была условлена в таком размере: деньгами восемь рублей в месяц, да два пуда муки, да в дни уроков обедать за господским столом.

Опять отслужали молебен и принялись уже за настоящую науку.

Отец Василий следовал в обучении той же методе, как и все педагоги того времени. В конце урока он задавал две-три странички из Ветхого завета, два-три параграфа из краткой русской грамматики и, по приезде через день, «спрашивал» заданное. Толковать приходилось только арифметические правила. Оказалось, впрочем, что я многое уже знал, прислушиваясь, в классные часы, к ученью старших братьев и сестер, а молитвы и заповеди с малолетства заставляли меня учить наизусть. Поэтому двух часов, в продолжение которых, по условию, батюшка должен был «просидеть» со мною, было даже чересчур много, так что последний час обыкновенно посвящался разговорам. Преимущественно шли расспросы о том, сколько у отца Василия в приходе душ, деревень, как последние называются, сколько он получает за требы, за славление в Рождество Христово, на святой и в престольные праздники, часто ли служит сорокоусты, как делятся доходы между священником, дьяконом и причетниками, и т. п. Почему все это меня интересовало, объяснить не могу, но, вероятно, тут оказывало свое действие общее скопидомческое направление семьи.

Отец Василий был доволен своим приходом: он получал с него до пятисот рублей в год и, кроме того, обрабатывал свою часть церковной земли. На эти средства в то время можно было прожить хорошо, тем больше, что у него было всего двое детей-сыновей, из которых старший уже кончал курс в семинарии. Но были в уезде и лучшие приходы, и он не без зависти указывал мне на них.

– Вон у Николы-на-Вопле, отец Семен одних свадеб до пятидесяти в прошлом году повенчал. Сочти-ко, ежели по пяти рублей за свадьбу, сколько тут денег будет! Приход у него тысяча двести душ в одном клину, да всё экономические. Народ исправный, вольный; да и земли у причта, кроме указной, жертвованной много; озеро рыбное есть, шуки вот экие водятся. Волостной голова, писарь, сельский старшина – всё приятели. Это чтоб он сам в поле с сохой выехал – ни в жизнь никогда! Шепнет старшине накануне, а на другой день к вечеру готово. Разве что по чарочке обнесет, так и вино у него не купленное, а откупщиково положение, потому у Николы кабак. Конечно, иной раз и он с косою позабавиться выйдет, два-три прокоса сделает, для примера, да и домой. А сверх того пчел водит, лошадьми торгует, деньги под проценты дает. В прошлом году пятую дочь замуж выдал, одними деньгами пятьсот рублей в приданое дал, да корову, да разного тряпья женского. Да в губернию съездил, там рублей двести истряс, чтоб зятя в город в священники определили. Вот он, отец Семен, как живет!

– Зато у вас помещиков восемь семейств в приходе считается! – возразил я.

– Что помещики! помещики-помещики, а какой в них прок? Твоя маменька и богатая, а много ли она на попа расщедрится. За всюнощную двугривенный, а не то и весь пятиалтынный. А поп между тем отягощается, часа полтора на ногах стоит. Придет усталый с работы, – целый день либо пахал, либо косил, а тут опять полтора часа стой да пой! Нет, я от своих помещиков подальше. Первое дело, прибыль от них пустой, а во-вторых, он же тебя жеребцом или шалыганом обозвать норовит.

Таким образом я мало-помалу узнал подробности церковнослужительского быта того времени. Как обучались в семинариях, как доставались священнические и дьяконские места,

как происходило посвящение в попы, что представлял собой благочинный, духовное правление, консистория и т. д.

– Чтоб место-то получить, надо либо на отцово место проситься, или в дом к старому попу, у которого дочь-невеста, войти, – повествовал отец Василий. – В консистории и списки приходам ведутся, в которых у попов-стариков невесты есть. Мой-то отец причетником был, он бы хоть сейчас мне свое место предоставил, так я из первеньких в семинарии курс кончил, в причетники-то идти не хотелось. Года четыре я по губернии шатался, все невесты искал. Что я тут нужды натерпелся – этого и в сказках не сказать. У самого грош в кармане, а везде, что ни шаг, деньги подавай. Народ все завистливый, жадный. Заплатишь в консистории, что требуется, поедешь к невесте, ан либо она с изъязном, либо приход такой, что и старики-то еле-еле около него пропитываются. Наконец уж Бог в Рябово привел. Ничего, живем с женой согласно, не нуждаемся.

– Сыну, что ли, вы место свое передать хотите?

– Покуда еще намерения такого не имею. Я еще и сам, слава Богу... Разве лет через десять что будет. Да старший-то сын у меня и пристрастия к духовному званию не имеет, хочет по гражданской части идти. Урок, вишь, у какого-то начальника нашел, так тот его обнадеживает.

– А меньшей сын?

– Меньшой – в монахи ладит. Не всякому монахом быть лестно, однако ежели кто может вместить, так и там не без пользы. Коли через академию пройдет, так либо в профессора, а не то так в ректоры в семинарию попадет. А бывает, что и в архиереи, яко велбуд сквозь игольное ушко, проскочит.

– Вот кабы к нам в губернию!

– Что ж, милости просим! буду сынка с колокольным звоном встречать!

– А правда ли, батюшка, что когда посвящают в архиереи, то они отца с матерью проклинают?

– Ну, уж и проклинают! Так, малую толику... всех партикулярных вообще...

На одном из подобных собеседований нас застала однажды матушка и порядочно-таки рассердилась на отца Василия. Но когда последний объяснил, что я уж почти всю науку произошел, а вслед за тем неожиданно предложил, не угодно ли, мол, по-латыни немножко барчука подучить, то гнев ее смягчился.

– Ах, вот это бесподобно! – воскликнула она, – по программе хоть в приготовительный класс и не требуется, а все-таки...

– А мы его в первый класс подготовим; пожалуй, и в других предметах дальше пойдем. Например, дроби и все такое...

– Бесподобно! бесподобно!

Отец Василий надеялся на меня и, нужно сказать правду, не ошибался в своих ожиданиях. Я действительно был прилежен. Кроме урочных занятий, которые мне почти никаких усилий не стоили, я, по собственному почину, перечитывал оставшиеся после старших детей учебники и скоро почти знал наизусть «Краткую всеобщую историю» Кайданова, «Краткую географию» Иванского и проч. Даже в синтаксис заглядывал и не чуждался риторики. Все это, конечно, усваивалось мною беспорядочно, без всякой системы, тем не менее запас фактов накапливался, и я не раз удивлял родителей, рассказывая за обедом такие исторические эпизоды, о которых они и понятия не имели. Только арифметика давалась плохо, потому что тут я сам себе помочь не мог, а отец Василий по части дробей тоже был не особенно силен. Зато латынь пошла отлично, и я через три-четыре недели так отчетливо склонял «mensa», что отец Василий в восторге хлопал меня по лбу ладонью и восклицал:

– Башка!

Замечу здесь мимоходом: несмотря на обилие книг и тетрадей, которые я перечитал, я не имел ни малейшего понятия о существовании русской литературы. По части русского

языка у нас были только учебники, то есть грамматика, синтаксис и риторика. Ни хрестоматии, ни даже басен Крылова не существовало, так что я, в буквальном смысле слова, почти до самого поступления в казенное заведение не знал ни одного русского стиха, кроме тех немногих обрывков, без начала и конца, которые были помещены в учебнике риторики, в качестве примеров фигур и тропов...

Матушка видела мою ретивость и радовалась. В голове ее зрела коварная мысль, что я и без посторонней помощи, руководствуясь только программой, сумею приготовить себя, года в два, к одному из средних классов пансиона. И мысль, что я *один* из всех детей почти ничего не буду стоить подготовкою, даже сделала ее нежною.

Таким образом прошел целый год, в продолжение которого я всех поражал своими успехами. Но не были ли эти успехи только кажущимися – это еще вопрос. Настоящего руководителя у меня не было, системы в усвоении знаний – тоже. В этом последнем отношении, как я сейчас упомянул, вместо всякой системы, у меня была программа для поступления в пансион. Матушка дала мне ее, сказав:

– Вот, смотри! Тут все написано, в какой класс что требуется. Так и приготовляйся.

Так я и приготовлялся; но, будучи предоставлен самому себе, переходил от одного предмета к другому, смотря по тому, что меня в данную минуту интересовало. Я быстро усвоивал, но усвоиваемое накаплилось без связи, в форме одиночных фактов, не вытекавших один из другого. Само собой разумеется, что такого рода работа, как бы она по наружности ни казалась успешною, не представляла устойчивых элементов, из которых могла бы выработаться способность к логическому мышлению. К концу года у меня образовалось такое смешение в голове, что я с невольным страхом заглядывал в программу, не имея возможности определить, в состоянии ли я выдержать серьезное испытание в другой класс, кроме приготовительного. Я чувствовал, что мне недостает чего-то *среднего*, какого-то связующего звена, и что благодаря этому недостатку самое умеренное требование объяснения, самый легкий вопрос в сторону от текста учебника поставит меня в тупик.

В этом смысле ученье мое шло даже хуже, нежели ученье старших братьев и сестер. Тех мучили, но в ученье их все-таки присутствовала хоть какая-нибудь последовательность, а кроме того, их было пятеро, и они имели возможность проверять друг друга. Эта проверка устанавливалась сама собою, по естественному ходу вещей, и несомненно помогала им. Меня не мучили, но зато и помощи я ниоткуда не имел.

Вообще одиночество и отсутствие надзора предоставляли мне сравнительно большую сумму свободы, нежели старшим детям, но эта свобода не привела за собой ничего похожего на самостоятельность. По наружности, я делал все, что хотел, но в действительности надо мной тяготела та же невидимая сила, которая тяготела над всеми домочадцами и которой я, в свою очередь, подчинялся безусловно. Этой силой была не чья-нибудь рука, непосредственно придавливающая человека, но вообще весь домашний уклад. Весь он так плотно сложился и до того пропитал атмосферу, что невозможно было, при такой силе давления, выработать что-нибудь свое. Предстояло жить, как живут все, дышать, как все дышат, идти по той же стезе, по какой все идут. Только внезапное появление сильного и горячего луча может при подобных условиях разбудить человеческую совесть и разорвать цепи той вековой неволи, в которой обязательно вращалась целая масса людей, начиная с всевластных господ и кончая каким-нибудь постылым Кирюшкой, которого не нынче завтра ожидала «красная шапка».

Таким животворным лучом было для меня Евангелие.

Роясь в учебниках, я отыскал «Чтение из четырех евангелистов»; а так как книга эта была в числе учебных руководств и знакомство с ней требовалось для экзаменов, то я принялся и за нее наравне с другими учебниками.

Выказывал ли я до тех пор задатки религиозности – это вопрос, на который я могу ответить скорее отрицательно, нежели утвердительно.

Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова «религия». Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм, вместо формулированной молитвы, только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и воздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием его он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, которому он от рождения отдан в жертву по воле рокового, ничем не объяснимого колдовства; что есть в мире Правда и что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело, – он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда снимет его, наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да! колдовство рухнет, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, где сложили кости его отцы. И они молились тою же бессловной молитвой, и они верили в то же Чудо. И Чудо совершилось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь, она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и, свободному, даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам...

В этом горячем душевном настроении замыкается весь смысл, вся сила молитвы; но – увы! – ничего подобного я лично за собою не помнил. Я знал очень много молитв, отчетливо произносил их в урочные часы, молился и стоя, и на коленях, но не чувствовал себя ни умиленным, ни умиротворенным. Я поступал в этом случае, как поступали все в нашем доме, то есть совершал известный обряд. Все в доме усердно молились, но главное значение молитвы полагалось не в сердечном просветлении, а в тех вещественных результатах, которые она, по общему корыстному убеждению, приносила за собой. Говорили: будешь молиться – и дастся тебе все, о чем просишь; не будешь молиться – насидишься безо всего. Самое Евангелие вовсе не считалось краеугольным камнем, на котором создался храм, в котором крестились и клали земные поклоны, – а немногим, чем выше всякой другой книги церковно-служебного круга. Большинство даже разумело под этим словом известный церковно-служебный момент. Говорилось: «Мы пришли к обедне, когда еще Евангелие не отошло»; или: «Это случилось, когда звонили ко второму Евангелию», и т. д. Внутреннее содержание книги оставалось закрытым и для наиболее культурных людей. И не потому, чтобы это содержание представляло собой обличение, а просто вследствие общей низменности жизненного строя, который весь сосредоточивался около запросов утробы...

Когда я в первый раз познакомился с Евангелием, это чтение пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по себе. Прежде всего меня поразили не столько новые мысли, сколько новые слова, которых я никогда ни от кого не слышал. И только повторительное, все более и более страстное чтение объяснило мне действительный смысл этих новых слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался за ними.

Все это очень кстати случилось как раз во время великого поста, и хотя великопостные дни, в смысле крепостной страды и заведенных порядков, ничем не отличались в нашем доме от обыкновенных дней, кроме того, что господу кушали «грибное», но все-таки как будто становилось посмирнее. Ради говельщиков-крестьян (господа и вся дворня говели на страстной неделе, а отец с тетками, сверх того, на первой и на четвертой), в церкви каждый день совершались службы, а это, в свою очередь, тоже напоминало ежели не о покаянии, то о сдержанности. Даже матушка, как бы сознавая потребность тишины, сидела, затворившись в спальне, и только в крайних случаях выходила из нее творить суд и расправу.

Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот. Я не говорю ни о той восторженности, которая переполнила мое сердце, ни о тех совсем новых образах, которые вереницами проходили перед моим умственным взором, – все это было в порядке вещей, но в то же время играло второстепенную роль. Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, *свое*, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков, и настойчиво требовали восстановления поправленного права на участие в жизни. То «свое», которое внезапно заговорило во мне, напоминало мне, что и *другие* обладают таким же, равносильным «своим». И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ.

Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего мирозерцания.

В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мной из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года.

.....

Весной (мне был уж девятый год) приехала из Москвы сестра, и я поступил в ее распоряжение. Она привезла из института множество тетрадок и принялась за меня очень строго. Надежды матушки, что под ее руководством я буду в состоянии, в течение года, приготовиться ко второму или третьему классу пансиона и что, следовательно, за меня не придется платить лишних денег, – оживились. Но я не считаю себя вправе сказать, что педагогические приемы сестры были толковее, нежели те, которые я выработал для себя сам. Один только прием был для меня вполне ощутителен, а именно тот, что отныне знания усваивались мною не столько при помощи толкований и объяснений, сколько при помощи побоев и телесных истязаний. Одним словом, для меня возобновилась та же ученическая страда, которая тяготела и над старшими братьями и сестрами.

VI. Дети. По поводу предыдущего

И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило старчество, я вспоминаю детские годы, и сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Пускай, впрочем, читатель не пугается: я не поведу его по этому поводу в область отвлеченностей и обобщений. Не стану, например, доказывать, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что с разрешением его тесно связано благополучие или злополучие страны; не буду ссылаться на то, что мы с школьной скамьи научились провидеть в детях устроителей грядущих исторических судеб. Нет, я просто, без околичностей, говорю: мне жаль детей не ради каких-нибудь социологических обобщений, а ради их самих.

Тем не менее прошу читателя не думать, что я считаю отвлеченности и обобщения пусто-порожнею фразой. Нет, я верил и теперь верю в их живоносную силу; я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и прочные устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. «Не погрязайте в подробностях настоящего, – говорил и писал я, – но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности; в сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человеческого, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем. Разница заключается только в том, что, создавая идеалы будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество».

К сожалению, уветы мои были голосом вопиющего в пустыне. Конечно, прорывались минуты, когда мне казалось, что общество вступает на стезю верований, – и сердце мое оживлялось. Но это было лишь кратковременное марево, которое немедленно же сменялось самою суровою действительностью. Умами снова овладела «злоба дня», общество снова погружалось в бессодержательную суматоху; мрак сгущался и бессрочно одолевал робкие лучи света, на мгновение озарившие жизнь. И – кто знает, – может быть, недалеко время, когда самые скромные ссылки на идеалы будущего будут возбуждать только ничем не стесняющийся смех...

Но возвращаюсь к детям. Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. Детство беспечно и не смущается мыслью о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе детское; слезы – тоже детские; тревоги – мимолетные, которые даже формулировать с полною определительностью нельзя. Посмотрите на Гришу или Маню – их личики еще не обсохли от слез, как уже снова расцвели улыбкой. Посмотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погруженные в свои насущные радости и даже не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое начало, которое подтачивает миллионы существований. Жизнь их течет, свободная и спокойная, в одних и тех же рамках, сегодня как вчера, но самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что содержанием для них служит непрерывное душевное ликование. Все действия детей свидетельствуют о невозмутимом душевном равновесии, благодаря которому они мгновенно забывают о чуть заметных горестях, встречающихся на их пути. Нужно только следить, чтобы развитие детей шло правильно; нужно оградить их от материальных опасностей и зачатков нравственных увлечений, которые могут повредить им в будущем. Эту задачу возьмет на себя разумная педагогика и выполнит ее так, что дети и не почувствуют тяготеющей над ними ферулы.

Так гласит общепризнанное мнение. Так долгое время думал и я, забывая о своем личном прошлом. Внешность оказывала на меня подкупающее действие. Беспечно резвиться, пребы-

вать в неведении зла, ничего не провидеть даже в собственном будущем, всем существом отдаваться наслаждению насущной минутой – разве возможно представить себе более завидный удел? О, дети, дети! Какую благодарную, восприимчивую почву представляют их сердца для руководства! Скажут им: нужно любить папеньку с маменькой – они любят; прикинут сюда тетенок, дяденок, сестриц, братцев и даже православных христиан – они и их помянут в молитвах своих. Таковы несложные детские обязанности относительно присных и ближних, а рядом с ними преподаются и житейские правила, столь же простые и удобные для восприятия. Резвиться, но не шуметь, за обедом сидеть прямо и не вмешиваться в разговоры старших; смотреть весело вообще и в особенности при гостях и т. д. Какой родитель, не исключая самого заурядного, затруднится внедрить эти элементарные правила в восприимчивое детское сердце? и какое детское сердце не понесется навстречу таким необременительным правилам? А когда ребенок вступит в отроческий возраст и родителям покажется недосужно или затруднительно заниматься его воспитанием, то на место их появится разумная педагогика и напишет на порученной ей *tabula rasa*¹¹ свои письмена. Она научит почитать старших, избегать общества неблаговоспитанных людей, вести себя скромно, не увлекаться вредными идеями и т. д. При помощи этих новых правил, сфера «воспитания» постепенно расширится, доведет до надлежащей мягкости восковое детское сердце и в то же время не дозволит червю сомнения заползти в тайники детской души.

Сомнения! – разве совместима речь о сомнениях с мыслью о вечно ликующих детях? Сомнения – ведь это отрава человеческого существования. Благодаря им человек впервые получает понятие о несправедливостях и тяготах жизни; с их вторжением он начинает сравнивать, анализировать не только свои собственные действия, но и поступки других. И горе, глубокое, неизбежное горе западает в его душу; за горем следует ропот, а отсюда только один шаг до озлобления...

О нет! ничего подобного, конечно, не допустят разумные педагоги. Они сохранят детскую душу во всем ее неведении, во всей непочатости и оградят ее от злых вторжений. Мало того: они употребят все усилия, чтобы продлить детский возраст до крайних пределов, до той минуты, когда сама собой вторгнется всеразрушающая сила жизни и скажет: отныне начинается пора зрелости, пора искупления непочатости и неведения!

.....

Повторяю: так долгое время думал я, вслед за общепризнанным мнением о привилегиях детского возраста. Но чем больше я углублялся в детский вопрос, чем чаще припоминалось мне мое личное прошлое и прошлое моей семьи, тем больше раскрывалась передо мною фальшь моих воззрений.

Прежде всего мне представилась мысль о необычайной интенсивной силе злополучия, разлитого в человеческом обществе. Злополучие так цепко хватается за все живущее, что только очень редкие индивидуумы ускользают от него, но и они, в большинстве случаев, пользуются незавидной репутацией простодушных людей. Куда вы ни оглянитесь, везде увидите присутствие злосчастия и массу людей, задыхающихся под игом его. Формы злосчастия разнообразны, разнообразна также степень сознательности, с которой переносит человек настаивающее его иго, но обязательность последнего одинакова для всех. Неправильность и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй, – вот где кроется источник этой обязательности, и потому она не может миновать ни одного общественного слоя, ни одного возраста человеческой жизни. Пронизывая общество сверху донизу, она не оставляет вне своего влияния и детей.

Говорят: посмотрите, как дети беспечно и весело резвятся, – и отсюда делают посылку к их счастью. Но ведь резвость, в сущности, только свидетельствует о потребности движе-

¹¹ дощечке (*лат.*).

ния, свойственной молодому ненадломленному организму. Это явление чисто физического порядка, которое не имеет ни малейшего влияния на будущие судьбы ребенка и которое, следовательно, можно совершенно свободно исключить из счета элементов, совокупность которых делает завидным детский удел.

Затем взгляните пристальнее в волнующуюся перед вами детскую среду, и вы без труда убедитесь, что *не все* дети резвятся и что, во всяком случае, не все резвятся *одинаково*. Одни резвятся смело и искренно, как бы сознавая свое право на резвость; другие – резвятся робко, урывками, как будто возможность резвиться составляет для них нечто вроде милости; третьи, наконец, угрюмо прячутся в сторону и издали наблюдают за играми сверстников, так что даже когда их случайно *заставляют* резвиться, то они делают это вяло и неумело. Но этого мало: вы убедитесь, что существует на свете целая масса детей, забытых, приниженных, брошенных с самых пеленок.

Я знаю, что, в глазах многих, выводы, полученные мною из наблюдений над детьми, покажутся жестокими. На это я отвечаю, что ишу не утешительных (во что бы ни стало) выводов, а правды. И, во имя этой правды, иду даже далее и утверждаю, что из всех жребиев, выпавших на долю живых существ, нет жребия более злосчастного, нежели тот, который достался на долю детей.

Дети ничего не знают о качествах экспериментов, которые над ними совершаются, – такова общая формула детского существования. Они не выработали ничего *своего*, что могло бы дать отпор попыткам извратить их природу. Колея, по которой им предстоит идти, проложена произвольно и всего чаще представляет собой дело случая.

Не все родители обязательно опытные и разумные; не все педагоги настолько проницательны, чтоб угадать природу ребенка, вверенного их воспитанию. По большей части в этом деле господствует полное смешение, которое способно извратить даже наиболее счастливо одаренную детскую природу. Но кроме случайности, детей преследует еще «система». Система представляет собой плод временного общественного настроения и на все живущее накладывает свою тяжелую руку. Она вырабатывает массу разнообразнейших жизненных формул, по большей части искусственных и удовлетворяющих исключительно взглядам и требованиям минуты. Дети в этом смысле составляют самую легкую добычу, которою она овладевает вполне безнаказанно, в полной уверенности, что восковое детское сердце всякую педагогическую затею примет без противодействия.

Припомните: разве история не была многократно свидетельницей мрачных и жестоких эпох, когда общество, гонимое паникой, перестает верить в освежающую силу знания и ищет спасения в невежестве? Когда мысль человеческая осуждается на бездействие, а действительное знание заменяется массой бесполезностей, которые отдают жизнь в жертву неосмысленности; когда идеалы меркнут, а на верования и убеждения налагается безусловный запрет?.. Где ручательство, что подобные эпохи не могут повториться и впредь?

Мучительно жить в такие эпохи, но у людей, уже вступивших на арену зрелой деятельности, есть, по крайней мере, то преимущество, что они сохраняют за собой право бороться и погибать. Это право избавит их от душевной пустоты и наполнит их сердца сознанием выполненного долга – долга не только перед самим собой, но и перед человечеством.

Это последнее сознание в особенности важно, ибо оно составляет не только преимущество, но и утешение. Для убежденной и верующей мысли представление о человечестве является отнюдь не отдаленным и индифферентным, как об этом гласит недалёковидная «злоба дня». Нет, между первым и последнею существует неразрывная цепь, каждое звено которой обладает передаточною силой, доведенной до крайних пределов чуткости. С помощью этой цепи борьба настоящего неизбежно откликнется в тех глубинах, в которых таятся будущие судьбы человечества, и заронит в них плодотворное семя. Не все лучи света погибнут в перипетиях борьбы, но часть их прорежет мрак и даст исходную точку для грядущего обновления.

Эта мысль заставляет усиленнее биться сердца поборников правды и укрепляет силы, необходимые для совершения подвига. Ибо это воистину сладчайший из подвигов, и сознание, что он выполнен бодро и без колебаний, воистину может пролить утешение в поруганные и измученные сердца.

Никаким подобным преимуществом не пользуются дети. Они чужды всякого участия в личном жизнестроительстве; они слепо следуют указаниям случайной руки и не знают, что эта рука сделает с ними. Поведет ли она их к торжеству или к гибели; укрепит ли их настолько, чтобы они могли выдержать напор неизбежных сомнений, или отдаст их в жертву последним? Даже приобретая знания, нередко ценою мучительных усилий, они не отдают себе отчета в том, действительно ли это знания, а не бесполезности...

Как я упомянул выше, действительное назначение детей, как оно представлялось до сих пор, – это играть роль *animae vilis*¹² для производства всякого рода воспитательных опытов.

Начните с родителей. Папаша желает, чтоб Сережа шел по гражданской части, мамаша настаивает, чтоб он был офицером. Папаша говорит, что назначение человека – творить суд и расправу. Мамаша утверждает, что есть назначение еще более высокое – защищать отечество против врагов.

– А вот убьют его у тебя при первой же войне! – угрожает папаша.

– Не беспокойся, не убьют! Мы его тогда домой выпросим! – возражает мамаша.

Неумные эти разговоры, с незначительными видоизменениями, возобновляются непрерывно в присутствии самого Сережи, который чутко вслушивается и колеблется, к какой стороне пристать. Но родители у него не промах. Они смекают, что настоять на своем они не могут иначе, как при содействии самого Сережи; и знают, как добиться этого содействия. Пускай он, хоть не понимая, скажет: «Ах, папаша! как бы мне хотелось быть прокурором, как дядя Коля!», или: «Ах, мамаша! когда я сделаюсь большой, у меня непременно будут на плечах такие же густые эполеты, как у дяди Паши, и такие же душистые усы!» Эти наивные пожелания наверно возымеют свое действие на родительские решения.

– Вот видишь, он сам свое призвание чувствует! – молвит папаша.

– Ах, Serge, Serge! а что ты вчера говорил! об эполетах-то и позабыл? – укорит Сережу мамаша.

И вот, чтобы получить Сережино содействие, с обеих сторон употребляется давление. Со стороны папаши оно заключается в том, что он от времени до времени награждает Сережу тычками и говорит:

– Вот погоди ты у меня, офицер!

Со стороны мамаша давление имеет более привлекательные формы. Она прикармливает Сережу конфетками и пирожками, приговаривая:

– Будешь, Сережа, офицером? да?

В конце концов мамаша побеждает; Сережа надевает офицерский мундир и, счастливый, самодовольный, мчится в собственной пролетке и на собственном рысаке по Невскому.

Но очарование в наш расчетливый век проходит быстро. Через три-четыре года Сережа начинает задумываться и склоняется к мысли, что папаша был прав.

Да, в наши дни истинное назначение человека именно в том состоит, чтоб творить суд и расправу. Большинство Сережиных сверстников уже с успехом предается этой профессии. Митя Потанчиков – товарищ прокурора; Федя Стригунов – член окружного суда, а Макар Полудин даже начеку быть вице-губернатором. А он, Сережа, все еще субалтерн-офицер. Он не может пожаловаться, что служба его идет туго и что начальство равнодушно к нему, но есть что-то в самой избранной им карьере, что делает его жребий не вполне удовлетворительным. Внешние враги примолкли, слухи о близкой войне оказываются несостоятельными – следова-

¹² низшего организма (*лат.*).

тельно, не предвидится и случая для покрытия себя славой. Притом же, слава славой, а что, ежели убьют?

– Ah, sacrrrrebleu!¹³

Остаются враги внутренние, но борьба с ними даже в отличие не вменяется. Как субалтерн-офицер, он не играет в этом деле никакой самостоятельной роли, а лишь следует указаниям того же Мити Потанчикова.

– Я с «ним» покуда разговаривать буду, – говорит Митя, – а ты тем временем постереги входы и выходы, и как только я дам знак – сейчас хлоп!

Сереже становится горько. Потребность творить суд и расправу так широко развилась в обществе, что начинает подтачивать и его существование. Помилуйте! какой же он офицер! и здоровье у него далеко не офицерское, да и совсем он не так храбр, чтобы лететь навстречу смерти ради стяжания лавров. Нет, надо как-нибудь это дело поправить! И вот он больше и больше избегает собеседований с мамашей и чаще и чаще совещается с папашей...

В одно прекрасное утро Сережа является домой в штатском платье. Мамаша падает в обморок, восклицая:

– Но я надеюсь, что ты, по крайней мере, будешь камер-юнкером!

– Мамаша! простите ли вы меня? – умоляет он, падая на колени.

Я знаю, что страдания и неудачи, описанные в сейчас приведенном примере, настолько малозначительны, что не могут считаться особенно убедительными. Но ведь дело не в силе страданий, а в том, что они падают на голову неожиданно, что творцом их является слепой случай, не признающий никакой надобности вникать в природу воспитываемого и не встречающий со стороны последнего ни малейшего противодействия.

Гораздо более злостными оказываются последствия, которые влечет за собой «система». В этом случае детская жизнь подтачивается в самом корне, подтачивается безвозвратно и неисправимо, потому что на помощь системе являются мастера своего дела – педагоги, которые служат ей не только за страх, но и за совесть.

В согласность ее требованиям, они ломают природу ребенка, погружают его душу в мрак, и ежели не всегда с полной откровенностью ратуют в пользу полного водворения невежества, то потому только, что у них есть подходящее средство обойти эту слишком крайнюю меру общественного спасения и заменить ее другою, не столь резко возмущающею человеческую совесть, но столь же действительною. Средство это, как я уже сказал выше, заключается в замене действительного знания массою бесполезностей, которыми издревле торгует педагогика.

Спрашивается: что могут дети противопоставить этим попыткам искалечить их жизнь? Увы! подавленные игом фатализма, они не только не дают никакого отпора, но сами идут навстречу своему злополучию и безропотно принимают удары, сыплющиеся на них со всех сторон. Бедные, злосчастные дети!

И вот, погруженные в невежество, с полными руками бесполезностей, с единственным идеалом в душе: творить суд и расправу – они постепенно достигают возмужалости и наконец являются на арену деятельности. Нет у них мерила ни для оценки поступков, ни для различения добра от зла. Сердца их поражены преждевременною дряблостью, умы не согреты стремлением к добру и человечности; понятие о Правде отсутствует. Успех или неуспех в уловлении насущных потребностей минуты – вот что становится предметом их вожделий, вот что помогает им изо дня в день влачить бесплодную жизнь.

В детском возрасте «система» пользовалась неведением детей, чтоб довести их умы до ограниченности. Теперь, по мере возмужалости, та же система является единственною руководительницею всех их помыслов и поступков. Покорно следуя указаниям детской традиции,

¹³ Ах, черртт возьми! (*фр.*)

они всё глубже и глубже погружаются в мрачные извилины случайного общественного настроения и становятся послушным орудием его жестоких велений. Возмужалые, они продолжают оставаться детьми, с тем же неведением, с тем же отсутствием силы противодействия, которое могло бы помочь им разобраться в путанице преходящих явлений.

Бедные, злополучные дети! вот что готовит вам в будущем слепая случайность, и вот тот удел, который общепризнанное мнение называет счастливым!

Возражения против изложенного выше, впрочем, очень возможны. Мне скажут, например, что я обличаю такие явления, на которых лежит обязательная печать фатализма. Нельзя же, в самом деле, вооружить ведением детей, коль скоро их возраст самую природою осужден на неведение. Нельзя возложить на них заботу об устройстве будущих их судеб, коль скоро они не обладают необходимым для этого умственным развитием.

Вот это я отлично знаю и охотно со всем соглашаюсь. Но и за всем тем тщетно стараюсь понять, где же тут элементы, на основании которых можно было бы вывести заключение о счастливых преимуществах детского возраста?

Правда, что дети не сознают, куда их ведут и что с ними делается, и это освобождает их от массы сердечных мук, которые истерзали бы их, если бы они обладали сознательностью. Но что же значит это временное облегчение ввиду тех угроз, которыми чревато их будущее?

Вот почему я продолжаю утверждать, что, в абсолютном смысле, нет возраста более злополучного, нежели детский, и что общепризнанное мнение глубоко заблуждается, поддерживая противное. По моему мнению, это заблуждение вредное, потому что оно отуманивает общество и мешает ему взглянуть трезво на детский вопрос.

Затем я вовсе не отрицаю существенной помощи, которую может оказать детям педагогика, но не могу примириться с тем педагогическим произволом, который, нагромождая систему на систему, ставит последние в зависимость от случайных настроений минуты. Педагогика должна быть прежде всего независимой; ее назначение – воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего. Ибо повторяю: бывают эпохи, когда общество, гонимое паникой, отвращается от знания и ищет спасения в невежестве. Ужели подобная задача, поставленная прямо или под каким бы то ни было прикрытием, может приличествовать педагогике?

VII. Портретная галерея. Тетеньки-сестрицы

Бьет четыре часа. Дети собрались на балконе, выходящем на красный двор, и вглядываются в даль по направлению к церкви и к длинному-длинному мостовнику, ведущему от церкви вплоть до пригорка, на котором стоит деревенька Ильинка.

Цель их пребывания на балконе двоякая. Во-первых, их распустили сегодня раньше обыкновенного, потому что завтра, 6 августа, главный престольный праздник в нашей церкви и накануне будут служить в доме особенно торжественную всенощную. В шесть часов из церкви, при колокольном звоне, понесут в дом местные образа, и хотя до этой минуты еще далеко, но детские сердца нетерпеливы, и детям уже кажется, что около церкви происходит какое-то приготовительное движение.

Во-вторых, с минуты на минуту ждут тетенок-сестриц (прислуга называет их «барышнями»), которые накануне преображенья дня приезжают в Малиновец и с этих пор гостят в нем всю зиму, вплоть до конца апреля, когда возвращаются в свое собственное гнездо «Уголок», в тридцати пяти верстах от нашей усадьбы. Три подводки с тетенькиным скарбом: сундуками, пуховиками, подушками и проч., еще вчера пришли вместе с горничной Липкой, которая уже приготовила их комнату, расставила в двух киотах образа, выварила клопов из кроватей и постлала постели.

Действительно, в половине пятого у околицы на выезде Ильинки показывается желтая четвероместная карета, которую трусцой спускает с пригорка четверка старых, совсем белых лошадей. Затем карета въезжает на мостовник и медленно ползет по нем до самой церкви.

– Тетеньки! Тетеньки! – раздается на балконе.

– Барышни едут! – откликаются голоса в девичьей и в коридорах.

А брат Степан, у которого в руках подозрительная трубка, следит за каретой и сообщает:

– Тетенька Марья Порфирьевна капор сняла, чепчик надевает... Смотрите! смотрите! вынула румяны... румянится! Сколько они пряников, черносливу, изюму везут... страсть! А завтра дадут нам по пятаку на пряники... И вдруг расщедрятся, да по гривеннику... Они по гривеннику да мать по гривеннику... на торгу пряников, рожков накупим! Смотрите! да, никак, старик Силантий на козлах... еще не умер! Ишь ползут старушечки! Да стегни же ты, старый хрен, правую-то пристяжную! видишь, совсем не везет!

По обыкновению, речь Степана не отличается связностью, но он без умолку продолжает болтать все время, покуда карета ползет да ползет по мостовнику. Наконец она у церкви поворачивает вправо и рысцой катится по направлению к дому. Дети крестятся и спешат на парадное крыльцо.

Там уже стоит старик отец и ждет сестриц. Матушка на крыльцо не выходит и встречает сестриц в раскрытых дверях лакейской. Этот обряд встречи установился с тех пор, как власть в доме от тетенок перешла безраздельно к матушке.

Тетеньки-сестрицы – старушки. Они погодки: одной шестьдесят два, другой шестьдесят три года. Обе маленького роста. Старшая, Марья Порфирьевна, еще молодится. Она употребляет белила и румяны, сурмит брови, носит белый чепчик, из-под которого выглядывают завитки из сырцового шелка, и выпавшие зубы заменяет восковыми. Ходит с прискочкой, кокетничает с образами, посылая им воздушные поцелуи, и беспрестанно дует налево, отгоняя от себя нечистого. Вообще это проказливая старуха, которая причиняет немало досады сестре и слывет в семье малоумною. Младшая сестра, Ольга Порфирьевна, смотрит гораздо солиднее и слывет умною. Косметиков она не употребляет, но зубы у нее почти сплошь восковые, и как она ими орудует – никто этого понять не может. Молится она истово, как следует солидной старушке, и хотя знает, что с левого бока ее сторожит дьявол, но, во избежание соблазна, дует на него лишь тогда, когда предполагает, что никто этого не видит. Сверх того, она умеет читать

и писать, тогда как Марья Порфирьевна совершенно безграмотна. Мы называем их тетеньками, отец и матушка – сестрицами; отсюда общая кличка: тетеньки-сестрицы.

Наконец карета у крыльца. Тетеньки вылезают из нее и кланяются отцу, касаясь рукой до земли, а отец в это время крестит их; потом они ловят его руку, а он ловит их руки, так что никакого целования из этого взаимного ловления не выходит, а происходит клеванье носами, которое кажется нам, детям, очень смешным. Потом тетеньки целуют всех нас и торопливо суют нам в руки по прянику.

– Откушать! с дорожки! – предлагает отец, очень хорошо зная, что кушанье давно убрано и снесено на погреб.

– И, братец! сытехоньки! У Рождества кормили – так на постоялом людских щец похлебали! – отвечает Ольга Порфирьевна, которая тоже отлично понимает (церемония эта, в одном и том же виде, повторяется каждый год), что если бы она и приняла братнино предложение, то из этого ничего бы не вышло.

Сестрицы, в сопровождении отца, поднимаются по лестнице, бледнея при одной мысли о предстоящей встрече с матушкой. И действительно, забежав вперед, мы довольно явственно слышим, как последняя сквозь зубы, но довольно внятно произносит:

– Притащились... дармоедки!

Происходит обряд целования, который заключается в том, что обе стороны в молчании прикладываются друг к другу щеками.

Затем матушка отходит к стороне и пропускает тетенок, которые взбираются по крутой и темной лестнице наверх в мезонин, где находится отведенная им комната. За ними следует их неизменная спутница Аннушка, старая-старая девушка, которая самих тетенок зазнала еще детьми.

Комната тетенок, так называемая боковушка, об одно окно, узкая и длинная, как коридор. Даже летом в ней царствует постоянный полумрак. По обеим сторонам окна поставлены киоты с образами и висящими перед ними лампадами. Несколько поодаль, у стены, стоят две кровати, друг к другу изголовьями; еще поодаль – большая изразцовая печка; за печкой, на пространстве полутора аршин, у самой двери, ютится Аннушка с своим сундуком, войлоком для спанья и затрапезной, плоской, как блин, и отливающей глянец подушкой.

Через несколько минут тетеньки-сестрицы уже вступают во владение своим помещением и сейчас же запирают дверь на крючок. Им нужно отдохнуть с полчаса, чтобы потом, прибравшись и прибодрившись, идти навстречу образам.

Оставлю, однако ж, на время тетенок, чтоб дать короткое описание, как праздновался наш престольный праздник.

Дети опять сгруппировались на балконе и на этот раз убеждаются, что около церкви действительно происходит движение. Вот прошел дячок и громадным ключом отпер церковную дверь. Следом за ним прошел пономарь и церковный староста, сопровождаемый несколькими мужичками с села. Все они понесут образа и будут присутствовать в «горнице» при всенощной. Около шести часов проходит в церковь священник, и из церкви выбегает пономарь и становится у веревки, протянутой к языку главного колокола. Колокол этот весит всего десять пудов, и сколько отец ни настаивает, чтоб купили новый, но матушка под всякими предлогами уклоняется от исполнения его желания. Точно так же остаются невыполненными просьбы отца, чтобы обедня в престольный праздник служилась соборно, или, по крайней мере, хоть приглашали бы дякона. Вообще матушка не любит отцовской усадьбы и нередко мечтает, что, со смертью мужа, устроит себе новое гнездо в одном из собственных имений. Ровно в шесть часов, по знаку из дома, ударяет наш жалкий колокол; у церковной ограды появляется толпа народа; раздается трезвон, и вслед за ним в дверях церкви показывается процессия с образами, предшествуемая священником в облачении.

Всенощная идет в образной комнате и длится более часа; за всенощной следует молебен с водосвятием и тремя-четырьмя акафистами, тоже продолжительный, так что все вместе кончается, когда уже на землю спустились сумерки. В образной слушают всенощную господа, в соседней комнате, в коридоре и в девичьей – дворовые; в палисаднике прислушивается к богослужению небольшая толпа, преимущественно ребятишки, которым не нашлось места в горнице. Все молятся с особенным усердием, потому что завтра главный престольный праздник, которого ждут целый год. При пении праздничного тропаря отец становится на колени и кладет земные поклоны; за ним, с шумом, то же самое делает и прочий молящийся люд.

Наконец отошел и молебен. Процессия с образами тем же порядком обратно направляется в церковь. Комнаты наполнены кадилльным дымом; молящиеся расходятся бесшумно; чай и вслед за ним ужин проходят в той специальной тишине, которая обыкновенно предшествует большому празднику, а часов с десяти огни везде потушены, и только в господских спальнях да в образной тускло мерцают лампы.

В день праздника с раннего утра светит солнышко, но в воздухе уже начинает чувствоваться приближение осени. В доме поднимается обычная праздничная суматоха. Прихорашиваются, чистятся. Дети встали спозаранку и стоят у окон в праздничных казакинчиках и белых панталонцах. Сенные девушки, в новых холстинковых платьях, наполняют шумом и ветром девичью и коридор; мужская прислуга, в синих суконных сюртуках, с белыми платками на шеях, ждет в лакейской удара колокола; два лакея в ливреях стоят у входных дверей, выжидая появления господ. Чаю в этот день до обедни не пьют даже дети, и так как все приказания отданы еще накануне, то делать решительно нечего.

Отец, в длиннополом сюртуке аглицкого сукна, в белом шейном платке и в козловых сапогах, беспокойно бродит взад и вперед по коридору, покрикивая: «Бегите на конную! лошадей! проворнее!» Даже матушка прифрантилась; на ней надет коричневый казимировый капот, обшитый домашними кружевами; на голову накинута тюлевая вышитая косынка. В этом наряде она и теперь еще хоть куда. Она стоит, в ожидании экипажа, в комнате, смежной с спальней, и смотрит в окно на раскинутые перед церковью белые шатры с разным крестьянским лакомством и на вереницу разряженных богомольцев, которая тянется мимо дома по дороге в церковь.

– Никак, Архип-то с утра пьян! – обращается она к ключнице, которая на всякий случай стоит возле нее, – смотри, какие мыслете выделяет!

– И то пьян! – подтверждает ключница.

– Ну, теперь пойдут сряду три дня дебоширствовать! того и гляди, деревню сожгут! И зачем только эти праздники сделаны! Ты смотри у меня! чтоб во дворе было спокойно! по очереди «гулять» отпуская: сперва одну очередь, потом другую, а наконец и остальных. Будет с них и по одному дню... налопаются вина! Да девки чтоб отнюдь пьяные не возвращались!

Матушка волнуется, потому что в престольный праздник она чувствует себя бессильною. Сряду три дня идет по деревням гульба, в которой принимает деятельное участие сам староста Федот. Он не является по вечерам за приказаниями, хотя матушка машинально всякий день спрашивает, пришел ли Федотка-пьяница, и всякий раз получает один и тот же ответ, что староста «не годится». А между тем овсы еще наполовину не сжатые в поле стоят, того гляди, сыпаться начнут, сенокос тоже не весь убран...

– Вот уж подлинно наказанье! – ропщет она, – ишь ведь, и погода, как нарочно, сухая да светлая – жать бы да жать! И кому это вздумалось на спас-преображенье престольный праздник назначить! Ну что бы на Рождество Богородицы или на Покров! Любехонько бы.

Наконец раздается первый удар колокола, и к крыльцу подъезжает старая-старая долгушка-трясучка, влекомая маленькой саврасой лошадкой, у которой верхняя губа побелела от старости. Это экипаж отца, который и усаживается в нем вместе с сестрицами, поспешая к «Часам». Вскоре после этого бешеная шестерня караковых жеребцов мчит к тому же крыльцу

четвероместную коляску, в которую, с первым ударом трезвона, садится матушка с детьми и с двумя ливрейными лакеями на запятках. Пристяжные завиваются, дышловые грызутся и гогочут, едва сдерживаемые сильною рукою кучера Алемпия; матушка трусит и крестится, но не может отказать себе в удовольствии проехаться в этот день на стоялых жеребцах, которые в один миг домчат ее до церкви.

Утро проходит томительно. Прежде всего происходит обряд поздравления. В лакейской собралась домашняя мужская прислуга и именитейшие из дворовых. Отец, с полштофом в одной руке и рюмкой в другой, принимает поздравления и по очереди подносит по рюмке водки поздравляющим. Это один из укоренившихся дедовских обычаев, который матушка давно старается упразднить, но безуспешно. В девичьей стоит самовар, и девушек поят чаем. Потом пьют чай сами господа (а в том числе и тетеньки, которым в другие дни посылают чай «на верх»), и в это же время детей наделяют деньгами: матушка каждому дает по гривеннику, тетеньки – по светленькому пятаку. Около полудня приходят «попы», и происходит славление, после которого подается та самая поповская закуска, о которой упоминалось уже в одной из первых глав. Изредка приезжает к престольному празднику кто-нибудь из соседей, но матушка, вообще не отличающаяся гостеприимством, в этот день просто ненавидит гостей и говорит про них: «гость не вовремя хуже татарина».

В особенности тоскливо детям. Им надоело даже смотреть на белеющие перед церковью шатры и на снующую около них толпу крестьянских девушек и парней. Они уходят до обеда в сад, но в праздничных костюмчиках им и порезвиться нельзя, потому что, того гляди, упадешь и измараешь «хорошее» платье. Поэтому они ходят чинно, избегая всякого шума, чтобы неосторожным движением не навлечь на себя гнева пристально следящей за ними гувернантки и не лишиться послеобеденного гулянья. Последнее случается, впрочем, довольно редко, потому что и гувернантка в такой большой праздник признаёт для себя обязательным быть снисходительной.

Наконец отошел и обед. В этот день он готовится в изобилии и из свежей провизии; и хотя матушка, по обыкновению, сама накладывает кушанье на тарелки детей, но на этот раз оделяет всех поровну, так что дети *все* сыты. Шумно встают они, по окончании обеда, из-за стола и хоть сейчас готовы бежать, чтобы растратить на торгу подаренные им капиталы, но и тут приходится ждать маменькиного позволения, а иногда она довольно долго не догадывается дать его.

Но вот вожделенный миг настал, и дети чинно, не смея прибавить шагу, идут к церкви, сопровождаемые вдогонку наставлениями матушки:

– Смотрите же, не пачкайте платьицев! да к шести часам чтоб быть домой!

У шатров толпится народ. В двух из них разложены лакомства, в третьем идет торг ситцами, платками, нитками, иголками и т. д. Мы направляемся прямо к шатру старого Аггея, который исстари посещает наш праздник и охотно нам уступает, зная, что дома не очень-то нас балуют.

Главные лакомства: мятый, мокрый чернослив, белый изюм, тоже мятый и влажный, пряники медовые, изображающие лошадей, коров и петухов, с налепленным по местам сусальным золотом, царградские рожки, орехи, изобилующие свищами, мелкий крыжовник, который щелкает на зубах и т. д. Мы с жадностью набрасываемся на сласти, и так как нас пятеро и в совокупности мы обладаем довольно значительною суммою, то в течение пяти минут в наших руках оказывается масса всякой всячины. С какою жадностью мы пожирали эту всякую всячину! Теперь, при одном воспоминании о том, что проскакивало в этот знаменательный день в мой желудок, мне становится не по себе.

В село нас гулять в этот день не пускают: боятся, чтоб картины мужицкой гульбы не повлияли вредно на детские сердца. Но до нас доносятся песни, и издали мы видим, как по улице разряженные девушки и парни водят хороводы, а мальчишки играют в бабки. Мы сравниваем наше подневольное житье с временною свободою, которою пользуется гуляющее про-

стонародье, и завидуем. Во всяком случае, мы не понимаем, почему нас не пускают в село. Не для того, разумеется, мы рвемся туда, чтобы участвовать в крестьянских увеселениях – упаси боже Затрапезных от такого общения! – а просто хоть посмотреть.

Настоящая гульба, впрочем, идет не на улице, а в избах, где не сходит со столов всякого рода угощение, подкрепляемое водкой и домашней брагой. В особенности чествуют старосту Федота, которого под руки, совсем пьяного, водят из дома в дом. Вообще все поголовно пьяны, даже пастух распустил сельское стадо, которое забрело на господский красный двор, и конюха то и дело убирают скотину на конный двор.

Вечером матушка сидит, запершись в своей комнате. С села доносится до нее густой гул, и она боится выйти, зная, что не в силах будет поручиться за себя. Отпущенные на праздник девушки постепенно возвращаются домой... веселые. Но их сейчас же убирают по чуланам и укладывают спать. Матушка чутьем угадывает эту процедуру, и ой-ой как колотится у нее в груди всевластное помещичье сердце!

Наконец часам к одиннадцати ночи гул смолкает, и матушка посылает на село посмотреть, везде ли потушены огни. По получении известия, что все в порядке, что было столько-то драк, но никто не изувечен, она, измученная, кидается в постель.

Первый день праздника кончился: завтра гульба возобновится, но уже по деревням. По крайней мере, хоть за глазами, и барское сердце будет меньше болеть.

Извиняюсь перед читателем за длинное отступление и возвращаюсь к тетенькам-сестрицам.

Они были старше отца и до самой его женитьбы жили вместе с ним, пользуясь в Малиновце правами полных хозяек. Хотя Марья Порфирьевна имела собственную усадьбу «Уголок», в тридцати пяти верстах от нас, но дом в ней был так неуютен и ветх, что жить там, в особенности зимой, было совсем невозможно. Во всяком случае, имение отца и обеих сестер составляло нечто нераздельное, находившееся под общим управлением, как было при дедушке Порфирье Григорьевиче. Доходы – впрочем, очень ограниченные – со всех имений получал отец, выдавая сестрицам по малости на самое необходимое. Брат и сестры жили дружно; последние даже благоговели перед младшим братом и здоровались с ним не иначе, как кланяясь до земли и целуя его руку.

У Ольги Порфирьевны никогда не было женихов, и вообще за нею не числилось никаких амурных историй. Она была дурна собой и росла строго, как бы заранее осудив себя на всегдашнее девство. Что касается до Марьи Порфирьевны, то она была милевиднее сестры, и, кажется, молодость ее прошла не столь безмятежно, как сестрина. По крайней мере, матушка от времени до времени, желая особенно больно кольнуть сестриц, припоминала *при всех* про какого-то драгунского офицера. Старушки при этом бледнели, а Марья Порфирьевна потихоньку проносила: тьфу! тьфу! – словно отрицаясь от наваждения. Даже старик отец не выдерживал и выговаривал матушке:

– И как тебе, сударыня, не стыдно!

Теперь, когда Марья Порфирьевна перешагнула уже за вторую половину седьмого десятилетия жизни, конечно, не могло быть речи о драгунских офицерах, но даже мы, дети, знали, что у старушки над самым изголовьем постели висел образок Иосифа Прекрасного, которому она особенно усердно молилась и в память которого, 31 марта, одевалась в белое коленкорое платье и тщательнее, нежели в обыкновенные дни, взбивала свои сырцового шелка кудри.

Таким образом спокойно и властно поживали тетеньки в Малиновце, как вдруг отец, уже будучи сорока лет, вздумал жениться. С тех пор значение сестер начало быстро падать. Хотя матушке было только пятнадцать лет, когда она вышла замуж, но молодость как-то необыкновенно скоро соскочила с нее. Ходило в семье предание, что поначалу она была веселая и разбитная молодка, называла горничных подружками, любила играть с ними песни, побегать

в горелки и ходить веселой гурьбой в лес по ягоды. Часто ездила в гости и к себе зазывала гостей и вообще не отказывала себе в удовольствиях. Очень возможно, что она и навсегда удержалась бы на этой стезе, если б не золовки. Они с самого начала вознамерились сделать из нее нечто вроде семейной потехи и всячески язвили ее колкостями, в особенности допекая по поводу недоданного приданого. Однако же отец, как человек слабохарактерный, не поддержал их. На первых порах он даже держал сторону молодой жены и защищал ее от золовок, и как ни коротко было время их супружеского согласия, но этого было достаточно, чтоб матушка решилась дать золовкам серьезный отпор.

Года через четыре после свадьбы в ее жизни совершился крутой переворот. Из молодухи она как-то внезапно сделалась «барыней», перестала звать сенных девушек подруженьками, и слово «девка» впервые слетело с ее языка, слетело самоуверенно, грозно и бесповоротно.

Борьба с золовками началась, разумеется, с тех пустяков, которыми так богат низменный домашний быт. В одно прекрасное утро матушка призвала к себе повара и сама заказала ему обед, так что когда сестрица Ольга Порфирьевна узнала об этом, то совершившийся факт уже был налицо. За обедом матушка сама разливала суп, что тоже до тех пор составляло одну из прерогатив Ольги Порфирьевны. Последняя угадала, что это только первые уколы, за которыми последуют и другие. И точно: вечером матушка в первый раз принимала старосту, выслушивала его доклад и отдавала приказания.

– Да что ты, мать моя, белены, что ли, объелась! – не выдержала Ольга Порфирьевна.

А тетенька Марья Порфирьевна, не понимая, что в доме произошло нечто весьма серьезное, хохотала и дразнилась:

– Ах, купчиха! ах, богатея! Покажи-ка сундуки, в которых приданое из Москвы привезла!

– Может, другой кто белены объелся, – спокойно ответила матушка Ольге Порфирьевне, – только я знаю, что я здесь хозяйка, а не нахлебница. У вас есть «Уголок», в котором вы и можете хозяйничать. Я у вас не гащивала и куска вашего не едала, а вы, по моей милости, здесь круглый год сыты. Поэтому ежели желаете и впредь жить у брата, то живите смиренно. А ваших слов, Марья Порфирьевна, я не забуду...

Этим сразу старинные порядки были покончены. Тетеньки пошептались с братцем, но без успеха. Все дворовые почувствовали, что над ними тяготеет не прежняя суতোлка, а настоящая хозяйская рука, покамест молодая и неопытная, но обещающая в будущем распорядок и властность. И хотя молодая «барыня» еще продолжала играть песни с девушками, но забава эта повторялась все реже и реже, а наконец девичья совсем смолкла, и веселые игры заменились целодневным вышиванием в пальцах и перебиранием коклюшек.

Тетеньки, однако ж, серьезно обиделись, и на другой же день в «Уголок» был послан нарочный с приказанием приготовить что нужно для принятия хозяек. А через неделю их уже не стало в нашем доме.

Проводы, разумеется, были самые родственные. Все домочадцы высыпали на крыльцо; сестрицы честь честью перецеловались, братец перекрестил отъезжавших и сказал: напрасно, – а сестрице Марье Порфирьевне даже пригрозил, вымолвив: «Это все ты, смутьянка!» Затем желтый рыдван покатился.

Увы! сестрицы не обладали даром предвидения. Они уезжали, когда лето было в самом разгаре, и забыли, что осенью и зимой «Уголок» представляет очень плохую защиту от стужи и непогод.

Действительно, не успел наступить сентябрь, как от Ольги Порфирьевны пришло к отцу покаянное письмо с просьбой пустить на зиму в Малиновец. К этому времени матушка настолько уже властвовала в доме, что отец не решился отвечать без ее согласия.

– Пустишь, что ли, сударыня? – спросил он нерешительно.

– Пускай живут! Отведу им наверху боковушку – там и будут зиму зимовать, – ответила матушка. – Только чур, ни в какие распоряжения не вмешиваться, а с мая месяца чтоб на все лето отправлялись в свой «Уголок». Не хочу я их видеть летом – мешают. Прыгают, егозят, в хозяйстве ничего не смыслят. А я хочу, чтоб у нас все в порядке было. Что мы получали, покуда сестрицы твои хозяйничали? грош медный! А я хочу...

Матушка уже начинала мечтать. В ее молодой голове толпились хозяйственные планы, которые должны были установить экономическое положение Малиновца на прочном основании. К тому же у нее в это время уже было двое детей, и надо было подумать об них. Разумеется, в основе ее планов лежала та же рутина, как и в прочих соседних хозяйствах, но ничего другого и перенять было неоткуда. Она желала добиться хоть одного: чтобы в хозяйстве существовал вес, счет и мера.

В этом отношении малиновецкая экономия представляла верх беспорядочности. Зерно без мер принималось с гумна и без мер же ссыпалось в амбар.

– Никто не украдет! все будут сыты! – говорили сестрицы и докладывали братцу, что молотьба кончилась, и сусеки, слава Богу, доверху полны зерном.

Очень возможно, что действительно воровства не существовало, но всякий брал без счета, сколько нужно или сколько хотел. Особенно одолевали дворовые, которые плодились как грибы и все, за исключением одиночек, состояли на месячине. К концу года оставалась в амбарах самая малость, которую почти задаром продавали местным прасолам, так что деньги считались в доме редкостью.

В таком же беспорядочном виде велось хозяйство и на конном и скотном дворах. Несмотря на изобилие сенокосов, сена почти никогда не доставало, и к весне скотина выгонялась в поле чуть живая. Молочного хозяйства и в заводе не было. Каждое утро посылали на скотную за молоком для господ и были вполне довольны, если круглый год хватало достаточно масла на стол. Это было счастливое время, о котором впоследствии долго вздыхала дворня.

Матушка во всех отраслях хозяйства ввела меру, вес и счет.

Она самолично простаивала целые дни при молотье и веянии и заставляла при себе мерять вывезанное зерно и при себе же мерою ссыпать в амбары. Кроме того, завела книгу, в которую записывала приход и расход, и раза два в год проверяла наличность. Она уже не говорила, что у нее сусеки наполнены верхом, а прямо заявляла, что умолот дал столько-то четвертей, из которых, по ее соображениям, столько-то должно поступить в продажу.

Затем она обратила внимание на месячину. Сразу уничтожить ее она не решалась, так как обычай этот существовал повсеместно, но сделала в ней очень значительные сокращения. Самое главное сокращение заключалось в том, что некоторые дворовые семьи держали на барском корму по две и по три коровы и по нескольку овец, и она сразу сократила число первых до одной, а число последних до пары, а лишних, без дальних разговоров, взяла на господский скотный двор.

Словом сказать, везде завелись новые и дотоле неслыханные порядки. Дворня до того была поражена, что в течение двух-трех дней чувствовалось между дворовыми нечто вроде волнения. Сам отец не одобрял этих новшеств. Он привык, чтобы кругом было тихо и смиренно, чтобы никто не жаловался и не роптал, а теперь пошли ежедневные судбища, разбирательства, учеты. В особенности же сетовал он на то, что матушка сменила прежних старосту и ключницу. Он даже попробовал заступиться за них, но, по обыкновению, сделал это нерешительно и вяло, так что молодой хозяйке почти не стоило никакого труда устоять на своем.

В результате этих усилий оказалось, что года через два Малиновец уже начал давать доход.

Но годы шли, и вместе с ними росла наша семья.

После двенадцати лет брака, во второй половине двадцатых годов, она уже считала восемь человек детей (я только что родился), и матушка начала серьезно задумываться, как

ей справиться с этой оравой. В доме завелись гувернантки; старшей сестре уже минуло одиннадцать лет, старшему брату – десять; надо было везти их в Москву, поместить в казенные заведения и воспитывать на свой счет. В предвидении этого и чтобы получить возможность сводить концы с концами, матушка с каждым годом больше и больше расширяла хозяйство в Малиновце, поднимала новые пашни, расчищала луга, словом сказать, извлекала из крепостного труда все, что он мог дать. Но ведь и крепостной труд не бесконечно растяжим, и триста шестьдесят душ отцовских все-таки оставались теми же триста шестьюдесятью душами, сколько ни налегали на них.

Как бы то ни было, но с этих пор матушкой овладела та страсть к скопидомству, которая не покинула ее даже впоследствии, когда наша семья могла считать себя уже вполне обеспеченною. Благодаря этой страсти, все куски были на счету, все лишние рты сделались ненавистными. В особенности возненавидела она тетенок-сестриц, видя в них нечто вроде хронической язвы, подтачивавшей благосостояние семьи.

Тетеньки окончательно примолкли. По установившемуся обычаю, они появлялись в Малиновце накануне преображенья дня и исчезали в «Уголок» в конце апреля, как только сливали реки и устанавливался мало-мальски сносный путь. Но и там и тут существование их было самое жалкое.

Господский дом в «Уголке» почти совсем развалился, а средств поправить его не было. Крыша протекала; стены в комнатах были испещрены следами водяных потоков; половицы колебались; из окон и даже из стен проникал ветер. Владелицы никогда прежде не заглядывали в усадьбу; им и в голову не приходило, что они будут вынуждены жить в такой руине, как вдруг их постигла невзгода.

Хозяйство в «Уголке» велось так же беспорядочно, как и в Малиновце во время их управления, а с прибытием владелиц элемент безалаберности еще более усилился.

Они были не только лишены всякого хозяйственного смысла, но сверх того, были чудихи и отличались тою назойливостью, которая даже самых усердных слуг выводила из терпения. В особенности проказлива была Марья Порфирьевна, которой, собственно, и принадлежал «Уголок».

Переезжая на лето к себе, она чувствовала себя свободною и как бы спешила вознаградить себя за те стеснения, которые преследовали ее во время зимы. Целые дни она придумывала проказу за проказой. То мазала жеваным хлебом кресты на стенах и окнах, то выбирала что ни на есть еле живую половицу и скакала по ней, рискуя провалиться, то ставила среди комнаты аналой и ходила вокруг него с зажженной свечой, воображая себя невестой и посылая воздушные поцелуи Иосифу Прекрасному. Однажды даже нарисовала углем усы благоверной княгине Ольге, а преподобному Нестору вывела на лбу рога. И сестра и прислуга неотступно следили за нею, опасаясь, чтоб она не сожгла усадьбы или чтоб с ней самой чего-нибудь не случилось.

Именьице было крохотное, всего сорок душ, но сестрицы и эту ограниченную хозяйственную силу не стеснялись сокращать почти наполовину. В самую страдную пору они рассылали пешком крестьян по церквям и монастырям, с кутьею и поминальными книжками или с подводами, нагруженными провизией, которая предназначалась разным богомолам, пользовавшимся их почитанием. По временам, прослышав, что в таком-то городе или селе (хотя бы даже за сто и более верст) должен быть крестный ход или принесут икону, они собирались и сами на богомолье. Закладывалась известная всему околотку желтая карета, и сестры на неделю и на две пропадали, переезжая с богомолья на богомолье. Эти поездки могли бы, в хозяйственном смысле, считаться полезными, потому что хоть в это время можно было бы управиться с работами, но своеобразные старухи и заочно не угомонялись, непрерывно требуя присылки подвод с провизией, так что, не будучи в собственном смысле слова жестокими,

они до такой степени в короткое время изнурили крестьян, что последние считались самыми бедными в целом уезде.

Ни отец, ни матушка в течение более десяти лет никогда не заглядывали в «Уголок». Матушка любила и поесть и попить в людях, а сестрицам угощать было нечем. Благодаря своей безалаберности они сами жили впроголодь, питаясь молоком, ягодами и хлебом, и если б не возможность прожить зиму в Малиновце, то неизвестно, как бы они извернулись. К счастью, у Ольги Порфирьевны были две дальние деревушки, около тридцати душ, которые платили небольшой оброк. Эта ничтожная сумма, разменная на двугривенные и пятиалтынные, и выручала их.

Зиму они проводили в Малиновце в полном смысле слова затворницами. Однажды вступив во владение «боковушкой», они выходили из нее только к обеду да в праздники к обедне. В мезонине у нас никто не жил, кроме сестриц да еще детей, которые приходили в свои детские только для спанья. Прочие комнаты стояли пустые и разделялись на две половины длинным темным коридором, в который вела снизу крутая темная лестница. Днем у всех было своего дела по горло, и потому наверх редко кто ходил, так что к темноте, наполнявшей коридор, присоединялась еще удручающая тишина. Малейший шорох заставлял сестриц вздрагивать и посылать Аннушку поглядеть, нет ли кого. Но в особенности их пугало, что коридор обоими концами упирался в чердаки, которые, как известно, составляют любимое местопребывание нечистой силы. Марья Порфирьевна пыталась ограждать себя от последней тем, что мазала на дверях чердаков кресты, но матушка, узнав об этом, приказала вымыть двери и пригрозила сестрицам выпроводить их из Малиновца.

С утра до вечера они сидели одни в своем заключении. У Ольги Порфирьевны хоть занятие было. Она умела вышивать шелками и делала из разноцветной фольги нечто вроде окладов к образам. Но Марья Порфирьевна ничего не умела и занималась только тем, что бегала взад и вперед по длинной комнате, производя искусственный ветер и намеренно мешая сестре работать.

Кормили тетенек более чем скупой. Утром посылали наверх по чашке холодного чаю без сахара, с тоненьким ломтиком белого хлеба; за обедом им первым подавали кушанье, предоставляя *право* выбирать самые худые куски. Помню, как робко они входили в столовую за четверть часа до обеда, чтобы не заставить ждать себя, и становились к окну. Когда появлялась матушка, они приближались к ней, но она почти всегда с беспощадною жестокостью отвечала им, говоря:

– Ну, еще целоваться вздумали! не бог знает сколько времени не видались!

В течение всего обеда они сидели потупив глаза в тарелки и безмолвствовали. Ели только суп и пирожное, так как остальное кушанье было не по зубам.

Присутствие матушки приводило их в оцепенение, и что бы ни говорилось за столом, какие бы ни происходили бурные сцены, они ни одним движением не выказывали, что принимают в происходящем какое-нибудь участие. Молча садились они за обед, молча подходили после обеда к отцу и к матушке и отправлялись наверх, чтоб не сходить оттуда до завтрашнего обеда.

Чем они были сыты – это составляло загадку, над разрешением которой никто не задумывался. Даже отец не интересовался этим вопросом и, по-видимому, был очень доволен, что его не беспокоят. По временам Аннушка, завтракавшая и обедавшая в девичьей, вместе с женской прислугой, отливала в небольшую чашку людских щец, толочка или кулаги и, крадучись, относилась под фартуком эту подачку «барышням». Но однажды матушка узнала об этом и строго-настрого запретила.

– Они дворянки, – сказала она язвительно, – а дворянкам не пристало холопские щи есть. Я купчиха – и то не ем.

Вообще сестрицы сделались чем-то вроде живых мумий; забытые, брошенные в тесную конуру, лишённые притока свежего воздуха, они даже перестали сознавать свою беспомощность и в безмолвном отупении жили, как в гробу, в своем обязательном убежище. Но и за это жалкое убежище они цеплялись всею силою своих костенеющих рук. В нем, по крайней мере, было тепло... Что, ежели рассердится сестрица Анна Павловна и скажет: мне и без вас есть кого поить-кормить! куда они тогда денутся?

Даже Марья Порфирьевна притихала и съеживалась, когда ей напоминали о возможности подобной катастрофы. Вообще она до того боялась матушки, что при упоминании ее имени бросалась на постель и прятала лицо в подушки.

Увы! предчувствие не обмануло сестриц. Минуты, когда ворота малиновецкой усадьбы заперлись перед ними навсегда, были сочтены.

Матушка в это время уже могла считать себя богатою. В самом начале тридцатых годов она успела приобрести значительное имение, верстах в сорока от Малиновца и всего в пяти верстах от «Уголка». Это было большое торговое село Заболотье, заключавшее в себе с деревнями более трех тысяч душ. Принадлежало оно троим владельцам, и часть одного из них, около тысячи двухсот душ, продавалась в опекуновском совете с аукциона. Прослышав о предстоящей продаже, матушка решила рискнуть своим небольшим приданным капиталом и поехала в Москву. Успех превзошел самые смелые ожидания. На аукцион никто не явился, кроме подставного лица, и имение осталось за матушкой, «с переводом долга» и с самой небольшой приплатой из приданных денег.

Имение было малоземельное, но оброк с крестьян получался исправно. А по тогдашнему времени это только и было нужно. Операция была настолько выгодна, что сразу дала матушке лишних пятнадцать тысяч чистого годового дохода, не считая уплаты процентов и погашения. Сверх того, летом из Заболотья наряжалась в Малиновец так называемая помочь, которая в три-четыре дня оканчивала почти все жнитво и значительную часть сенокоса. Вследствие этого и Малиновец начал давать все более и более серьезный доход. Благосостоянию семьи было положено прочное основание.

Но тут-то именно и случилось нечто в высшей степени прискорбное для сестриц. Матушка, никогда не любившая Малиновца, начала, с покупкой нового имения, положительно скучать в родовом отцовском гнезде. В Заболотье был тоже господский дом, хотя тесный и плохо устроенный, но матушка была непривередлива. Ей нравилась оживленная улица села, с постоянно открытыми лавками, в которых, по ее выражению, только птичьего молока нельзя было достать, и с еженедельным торгом, на который съезжались толпы народа из соседних деревень; нравилась заболотская пятиглавая церковь с пятисотпудовым колоколом; нравилась новая кипучая деятельность, которую представляло оброчное имение. Оброки собирались по мелочам, так что надо было наблюдать да и наблюдать, записывать да и записывать. Да и один ли оброк? ежели к такому имению да приложить руки, так и других полезных статей немало найдется. Обложить торговцев сбором, свои лавки построить, постоянный двор, трактир... Одно горе: имение чересполосное; мужики остальных двух частей, при заглазном управлении, совсем извольничались и, пожалуй, не скоро пойдут на затею новой помещицы. Но ведь и это представляло пищу для деятельности. Пойдут разговоры, совещания; иное уладится само собой, а иное и до суда дойдет. Обо всем надо подумать, переговорить. Матушка и об тягбе начала помышлять без особенного страха.

Первые три года она только урывками наезжала в Заболотье. Пробудет месяц-другой и опять воротится в Малиновец. Но мысль ее все больше и больше склонялась к тому, чтобы из Заболотья сделать зимнюю резиденцию. Зимой в Малиновце решительно нечего было делать. Шла только молотба (иногда до самой масленицы), но для наблюдения за ней был под рукой староста Федот, которому можно было безусловно доверить барское дело. Господский дом оказывался слишком обширным и опустелым (почти все дети уж были размещены по казенным

заведениям в Москве), и отопление такой махины требовало слишком много дров. Оставалось убедить отца, но ведь матушке было не привыкать стать к домашним сценам. Побурлит старик, а она опять-таки на своем поставит. А о том, что где-то наверху, в боковушке, словно мыши, скребутся сестрицы, она забыла и думать.

Участь тетенок-сестриц была решена. Условлено было, что сейчас после Покрова, когда по первым умолотам уже можно будет судить об общем урожае озимого и ярового, семья переедет в Заболотье. Часть дворовых переведут туда же, а часть разместится в Малиновце по флигелям, и затем господский дом заколотят.

Сверх ожидания, отец принял это решение без особенных возражений. Его соблазняло, что при заболотской церкви состоят три попа и два дьякона, что там каждый день служат обедню, а в праздничные дни даже две, раннюю и позднюю, из которых последнюю – соборне.

Матушка сама известила сестриц об этом решении. «Нам это необходимо для устройства имений наших, – писала она, – а вы и не увидите, как зиму без милых сердцу проведете. Ухитите ваш домичек соломкой да жердочками сверху обрешетите – и будет у вас тепленько и уютненько. А соскучитесь одни – в Заболотье чайку попить милости просим. Всего пять верст – мигом лошадушки домчат...»

В половине декабря уголковский староста Осип явился в Заболотье и просил доложить о себе матушке.

– Барышня Ольга Порфирьевна у нас плоха, – доложил он ей.

– Что с нею?

– Да стужа в домишке-то... простудилась, стало быть.

– Я ведь писала, чтобы дом соломой снаружи ухитить...

– Что солома! бревна сгнили... Стужа лютее, чем на дворе.

– А я тут при чем? что ты ко мне пристал? Я разве причинна, что дом у вас сгнил?

– Я не к тому... так, доложить пришел... Как бы потом в ответе не быть...

– Лежит она, что ли?

– Пока еще бродит... кашель дюже одолел. Так бьет, так бьет, что ни на что не похоже... на бок жалуется...

– Что ж я-то могу?... Бог милостив, отходитя. За доктором, коли что, пошлите.

С тем староста и ушел. Матушка, впрочем, несколько раз порывалась велеть заложить лошадей, чтоб съездить к сестрицам; но в конце концов махнула рукой и успокоилась.

На святках староста опять приехал и объявил, что Ольга Порфирьевна уж кончается. Я в это время учился в Москве, но на зимнюю вакацию меня выпросили в Заболотье. Матушка в несколько минут собралась и вместе с отцом и со мной поехала в Уголок.

Домишко был действительно жалкий. Он стоял на юру, окутанный промерзлой соломой и не защищенный даже рощицей. Когда мы из крытого возка перешли в переднюю, нас обдало морозом. Встретила нас тетенька Марья Порфирьевна, укутанная в толстый ваточный капот, в капоре и в валяных сапогах. Лицо ее осунулось и выражало младенческое отупение. Завидев нас, она машинально замахала руками, словно говорила: тише! тише! Сзади стояла старая Аннушка и плакала.

Ольга Порфирьевна уже скончалась, но ее еще не успели снять с постели. Миниатюрная головка ее, сморщенная, с обострившимися чертами лица, с закрытыми глазами, беспомощно высывалась из-под груды всякого тряпья, наваленного ради тепла; у изголовья, на стуле, стоял непечатый стакан малинового настоя. В углу, у образов, священник, в ветхой рясе, служил панихиду.

Матушка заплакала. Отец, в шубе и больших меховых сапогах, закрывал рукою рот и нос, чтоб не глотнуть морозного воздуха.

Когда кончилась панихида, матушка сунула священнику в руку полтинник и сказала: «Уж вы, батюшка, постарайтесь!» Затем все на минуту присели, дали Аннушке и старосте надлежащие наставления, поклонились покойнице и стали поспешно собираться домой. Марью Порфирьевну тоже взяли с собой в Заболотье.

Через три дня Ольгу Порфирьевну схоронили на бедном погосте, к которому Уголок был приходом. Похороны, впрочем, произошли честь честью. Матушка выписала из города средненький, но очень приличный гробик, средненький, но тоже очень приличный покров и пригласила из Заболотья старшего священника, который и служил заупокойную литургию соборне. Мало того: она заказала два сорокоуста и внесла в приходскую церковь сто рублей вклада на *вечные* времена для поминовения души усопшей рабы Божией Ольги.

Спустя месяц тетеньку Марью Порфирьевну, вместе с Аннушкой, поместили в ближайший женский монастырь. Матушка сама ездила хлопотать и купила в монастырской ограде особую келью, чтобы старушке жилось уютненько и тепленько.

Словом сказать, устроили дело так, чтоб и душа покойной, глядячи с небеси, радовалась, да и перед людьми было не стыдно...

VIII. Тетенька Анфиса Порфирьевна

Тетенька Анфиса Порфирьевна была младшая из сестер отца (в описываемое время ей было немногим больше пятидесяти лет) и жила от нас недалеко.

Я не помню, впрочем, чтоб до покупки Заболотья мы когда-нибудь езжали к ней, да и не помню, чтобы и она у нас бывала, так что я совсем ее не знал. Уже в семье дедушки Порфирия Васильича, когда она еще была «в девках», ее не любили и называли варваркой; впоследствии же, когда она вышла замуж и стала жить на своей воле, репутация эта за ней окончательно утвердилась. Рассказывали почти чудовищные факты из ее помещичьей практики и нечто совсем фантастическое об ее семейной жизни. Говорили, например, что она, еще будучи в девушках, защищала до смерти данную ей в услужение девчонку; что она находится замужем за покойником и т. д. Отец избегал разговоров об ней, но матушка, которая вообще любила позлословить, называла ее не иначе, как тиранкой и распутницей. Вообще и родные, и помещики-соседи чуждались Савельцевых (фамилия тетеньки по мужу), так что они жили совершенно одни, всеми оброшенные.

Рассказы эти передавались без малейших прикрас и утаек, во всеулышание, при детях, и, разумеется, сильно действовали на детское воображение. Я, например, от роду не выдавши тетеньки, представлял себе ее чем-то вроде скелета (такую женщину я на картинке в книжке видел), в серо-пепельном хитоне, с простертыми вперед руками, концы которых были вооружены острыми когтями вместо пальцев, с зияющими впадинами вместо глаз и с вьющимися на голове змеями вместо волос.

Но с покупкой Заболотья обстоятельства изменились. Дело в том, что тетенькино имение, Овсецово, лежало как раз на полпути от Малинцова к Заболотью. А так как пряжка в сорок с лишком верст для непривычных лошадей была утомительна, то необходимость заставляла кормить на половине дороги. Обыкновенно, мы делали привал на постоялом дворе, стоявшем на берегу реки Вопли, наискосок от Овсецова; но матушка, с своей обычной расчетливостью, решила, что, чем изъязниться на постоялом дворе,¹⁴ выгоднее будет часа два-три посидеть у сестрицы, которая, конечно, будет рада возобновлению родственных отношений и постарается удовлетворить дорогую гостью.

И вот однажды – это было летом – матушка собралась в Заболотье и меня взяла с собой. Это был наш первый (впрочем, и последний) визит к Савельцевым. Я помню, любопытство так сильно волновало меня, что мне буквально не сиделось на месте. Воображение работало, рисуя заранее уже созданный образ фурии, грозно выступающей нам навстречу. Матушка тоже беспрестанно колебалась и переговаривалась с горничной Агашей.

– Заезжать, что ли?

– Это как вам, сударыня, будет угодно.

– Еще не примет, пожалуй!

– Как не принять... помилуйте! даже с радостью.

Матушка задумалась на минуту в нерешимости и потом продолжала:

– Чай, и Фомку своего покажет!

– Может, и посовестится. А впрочем, сказывают, он завсе с барыней за одним столом обедает...

– Ну, ладно, едем!

¹⁴ О том, как велик был этот изъяз, можно судить по следующему расчету: пуд сена лошадям (овес был свой) – 20 коп., завтрак кучеру и лакею – 30 коп.; самовар и кринка молока – 30 коп. Господа кушали свое, домашнее, и я как сейчас вижу синюю бумагу, в которую была завязана жареная курица, несколько пшеничных колобушек с запеченными яйцами и половина ситного хлеба. Горничная питалась остатками от барской трапезы. За «постоялое» платилось только в ненастье (около 20 коп.); в ведро же матушка располагалась отдохнуть в огороде. Итого восемьдесят копеек, и в крайнем случае рубль на ассигнации!

Через короткое время, однако ж, решимость оставляла матушку, и разговор возобновлялся на противоположную тему.

– Нет уж, что срамиться, – говорила она и, обращаясь к кучеру, прибавляла: – Ступай на постоялый двор!

Поэтому сердце мое сильно забилося, когда, при повороте в Овсецово, матушка крикнула кучеру:

– В Овсецово!

Экипаж своротил с большой дороги и покатился мягким проселком по направлению к небольшому господскому дому, стоявшему в глубине двора, обнесенного тыном и обсаженного березками.

Действительно, нас ожидало нечто не совсем обыкновенное. Двор был пустынен; решетчатые ворота заперты; за тыном не слышалось ни звука. Солнце палило так, что даже собака, привязанная у амбара, не залаяла, услышав нас, а только лениво повернула морду в нашу сторону.

Казалось, само забвение поселилось здесь и покрыло своим пологом все живущее. Через две-три минуты, однако ж, из-за угла дома вынырнула человеческая фигура в затрапезном сюртуке, остановилась, приложила руку к глазам и на окрик наш: «Анфиса Порфирьевна дома?» – мгновенно скрылась. Потом с девичьего крыльца выбежала женщина в рваном сарафане и тоже скрылась. Наконец сквозь решетчатые ворота мы увидели начавшееся в доме движение, беготню. Отворилось парадное крыльцо, и из него выбежал босоногий подросток в нанковом казакине, который и отворил нам ворота.

Тетенька уже стояла на крыльце, когда мы подъехали. Это была преждевременно одряхлевшая, костлявая и почти беззубая старуха, с морщинистым лицом и седыми космами на голове, развевавшимися по ветру. Моему настроенному воображению представилось, что в этих космах шевелятся змеи. К довершению всего на ней был надет старый-старый ситцевый балахон серо-пепельного цвета, точь-в-точь как на картинке.

– Ах, родные мои! ах, благодетели! вспомнила-таки про старуху, сударушка! – дребезжащим голосом приветствовала она нас, протягивая руки, чтобы обнять матушку, – чай, на полпути в Заболотье... все-таки дешевле, чем на постоялом кормиться... Слышала, сударушка, слышала! Купила ты коко с соком... Ну, да и молодец же ты! Лёгко ли дело, сама-одна какое дело сварганила! Милости просим в горницы! Спасибо, сударка, что хоть ненароком да вспомнила.

Покуда тетенька беспорядочно и не без иронии произносила свое приветствие, я со страхом ждал своей очереди.

– И мальчика с собой привезла... ну, обрадовала! Это который? – обратилась она ко мне и, взяв меня за плечи, поцеловала тонкими, запекшимися губами.

– Осьмой... да дома еще остался...

– Девятый... ай да молодец брат Василий! Седьмой десяток, а поди еще как проказничает! Того гляди, и десятый недалеко... Ну, дай тебе Бог, сударыня, дай Бог! Постой-ка, постой, душенька, дай посмотреть, на кого ты похож! Ну, так и есть, на братца Василья Порфирьича, точка в точку вылитый в него!

Она поворачивала меня к свету и осматривала со всех сторон.

Я должен сказать, что такого рода балагурство было мне не в диковинку. И в нашем доме, и у соседей к женской чести относились не особенно осторожно. Соседи и соседки клепали друг на друга почти шутя. Была ли хоть искра правдоподобия в этих поклепах – об этом никто не думал. Они составляли как бы круговую поруку и в то же время были единственным общедоступным предметом беседований, которому и в гостях, и у семейного очага с одинаковой страстью посвящали свои досуги и кавалеры и дамы, в особенности же последние. Я лично

почти не понимал, а чем заключается суть этого балагурства, но слова уже настолько прислушались, что я не поражаюсь ими.

Матушка, однако ж, поняла, что попала в ловушку и что ей не ускользнуть от подлых намеков в продолжение всех двух-трех часов, покуда будут кормиться лошади. Поэтому она, еще не входя в комнаты, начала уже торопиться и приказала, чтоб лошадей не откладывали. Но тетенька и слышать не хотела о скором отъезде дорогих родных.

– Ах-ах-ах! да, никак, ты на меня обиделась, сударка! – воскликнула она, – и не думай уезжать – не пушу! ведь я, мой друг, ежели и сказала что, так спроста!.. Так вот... Проста я, куда как проста нынче стала! Иногда чего и на уме нет, а я все говорю, все говорю! Изволь-ка, изволь-ка в горницы идти – без хлеба-соли не отпущу, и не думай! А ты, малец, – обратилась она ко мне, – погуляй, ягодок в огороде пощипли, покуда мы с маменькой побеседуем! Ах, родные мои! ах, благодетели! сколько лет, сколько зим!

Делать нечего, пришлось оставаться. Я, разумеется, с радостью поспешил воспользоваться данным мне отпуском и в несколько прыжков уж очутился на дворе.

Двор был пустынен по-прежнему. Обнесенный кругом частоколом, он придавал усадьбе характер острога. С одного края, в некотором отдалении от дома, виднелись хозяйственные постройки: конюшни, скотный двор, людские и проч., но и там не слышно было никакого движения, потому что скот был в стаде, а дворовые на барщине. Только вдали, за службами, бежал по направлению к полю во всю прыть мальчишка, которого, вероятно, послали на сенокос за прислугой.

В детстве я очень любил все, что относилось до хозяйства, а потому и в настоящем случае прежде всего отправился к службам. Требовалось сравнить, все ли тут так же прочно, солидно и просторно, как у нас, в Малиновце; как устроены стойла для лошадей, много ли стоит жеребцов, которых в стадо не гоняют, а держат постоянно на сухом корму; обширен ли скотный двор, похожа ли савельцевская кухарка в застойной на нашу кухарку Василису и т. д. Сверх того, я видел, что у ворот конного двора стоит наша коляска с поднятым фордеком и около нее сидит наш кучер Алемпий, пускает дым из трубки-носогрейки и разговаривает с сгорбленным стариком в синем, вылинявшем от употребления крашенинном сюртуке. Наверное, думалось мне, они ведут речь о лошадях, и Алемпий хвалится нашим небольшим конским заводом, который и меня всегда интересовал. Но по мере того, как я приближался к службам, до слуха моего доносились сдерживаемые стоны, которые сразу восстановили в моем воображении всю последовательность рассказов из тетенькиной крепостной практики. Через несколько секунд я был уже на месте.

Действительность, представившаяся моим глазам, была поистине ужасна. Я с детства привык к грубым формам помещичьего произвола, который выражался в нашем доме в форме сквернословия, пощечин, зуботычин и т. д., привык до того, что они почти не трогали меня. Но до истязания у нас не доходило. Тут же я увидел картину такого возмутительного свойства, что на минуту остановился как вкопанный, не веря глазам своим.

У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило.

Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошеное вмешательство, – до такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человеческие порывы. Однако ж сердце мое не выдержало; я тихонько подкрался к столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки.

– Не тронь... тетенька забранит... хуже будет! – остановила меня девочка, – вот лицо фартуком оботри... Барин!.. миленький!

И в то же время сзади меня раздался старческий голос:

– Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тетенька привяжет!

Это говорил Алемпиев собеседник. При этих словах во мне совершилось нечто постыдное. Я мгновенно забыл о девочке и с поднятыми кулаками, с словами: «Молчать, подлый холуй!» – бросился к старику. Я не помню, чтобы со мной случался когда-либо такой припадок гнева и чтобы он выражался в таких формах, но очевидно, что крепостная практика уже свила во мне прочное гнездо и ожидала только случая, чтобы всплыть наружу.

Старик, в свою очередь, замахнулся на меня, и кто знает, что бы тут произошло, если бы Алемпий не вступился за меня.

– Что вы! что вы, сударь! – успокаивал он меня, – ведь это барин... Маменька гневаться будут...

А остервенившийся старик в то же время кричал:

– Я не холуй, а твой дядя, вот я кто! Я тебя...

Не дослушав дальнейших угроз, я опрометью побежал в дом. Дорогой мне казалось, что передо мной встало привидение и преследовало меня по пятам.

В зале уже накрывали на стол; в гостиную добрые родственницы дружелюбно беседовали.

Беспорядочно, прерывая рассказ слезами, я передал мои жалобы матушке, упомянув и о несчастной девочке, привязанной к столбу, и о каком-то лакее, осмелившемся назвать себя моим дядей, но, к удивлению, матушка выслушала мой рассказ морщась, а тетенька совершенно равнодушно сказала:

– Это он, видно, моего «покойничка» видел! – И затем, обращаясь ко мне, прибавила: – А тебе, мой друг, не следовало не в свое дело вмешиваться. В чужой монастырь с своим уставом не ходят. Девчонка провинилась, и я ее наказала. Она моя, и я что хочу, то с ней и делаю. Так-то.

А матушка прибавила:

– Разумеется. Ты у тетеньки в гостях и, стало быть, должен вести себя прилично. Не след тебе по конюшням бегать. Сидел бы с нами или в саду бы погулял – ничего бы и не было. И вперед этого никогда не делай. Тетенька слишком добра, а я на ее месте поставила бы тебя на коленки, и дело с концом. И я бы не заступилась, а сказала бы: за дело!

К счастью, тетенька не только не поставила меня на коленки, но на этот раз решилась быть доброю, кликнула девку и приказала отпустить наказанную.

– Признаться сказать, я и забыла про Наташку, – сказала она. – Не следовало бы девчонку баловать, ну да уж, для дорогих гостей, так и быть – пускай за племянничка Бога молит. Ах, трудно мне с ними, сестрица, справляться! Народ все сорванец – долго ли до греха!

– Долго ли! – подтвердила и матушка. – Ну, а твой «покойничек», сестрица... жив и здоров?

– Что ему, псу несытому, делается! ест да пьет, ест да пьет! Только что он мне одними взятками стоит... ах, распостылый! Весь земский суд, по его милости, на свой счет содержу... смерти на него нет! Умер бы – и дело бы с концом!

– А не буйствует он?

– Нет, смирился. Насчет этого пожаловаться не могу, благородно себя ведет. Ну, да ведь, мать моя, со мною немного поговорит. Я сейчас локти к лопаткам, да и к исправнику... Проявился, мол, бродяга, мужем моим себя называет... Делайте с ним, что хотите, а он мне не надобен!

– А отвечать не боишься?

– Отвечать-то? Да тут все в ответе – и не разберешь! Я и то иногда подумываю: один конец! возьму да сошлю его в Сибирь... Он ведь по ревизии в дворовых у меня числится, и будь

хошь исправник, хошь разысправник, а должен будет сделать по-моему! В ту пору у нас, случилось, столяр Потапка помер, так его под именем боярина Савельцева схоронили, а моего сокола, чтоб солдатства миновать, дворовым человеком Потапом Семеновым окрестили. Стало быть, я теперь что хочу, то с ним и делаю! Ах, да проста я нынче стала, куда проста! Подумаю, подумаю: ну, непременно, как свят Бог, его, поганца, сошлю! а потом и жалко станет! Лёгко ли дело! Невступно двадцать лет подьячие около меня кормятся, словно мушинный рой так и жужжат... В раззор разорили, хоть по миру ступай! И хозяйство не мило, потому, что ни продам, что ни получу, все на них, каторжных, уходит! Да не хочется ли тебе посмотреть на чудушку-то моего?..

– Нет, что уж! Христос с ним... А хорошенькое у тебя, сестрица, именице, кругленькое... Ехала я мимо озимого... ах, хороша родилась рожь! Будешь с хлебцем нынешний год!

Дальнейший разговор свернул на хозяйственные темы, которые, вероятно, служили ему содержанием и тогда, когда я своим неожиданным появлением прервал его. Я узнал, что у тетеньки своих сорок душ, да мужниных восемьдесят она как-то сумела на свое имя перевести. Имение мужа выгоднее, потому что там люди поголовно поверстаны в дворовые, работают на барщине ежедневно, а она своих крестьян не успела в дворовые перечислить, предводитель попрепятствовал, пригрозил дело завести. И земли у нее довольно, и лесок есть; всем было бы хорошо, кабы не донимали подьячие.

– А все из-за него, из-за постылого! Разорил меня, подлый человек, не берет его смерть, да и вся недолга! – беспрестанно прибавляла тетенька, прерывая свой рассказ.

Наконец, около половины третьего, нас позвали обедать. Войдя в залу, мы застали там громадного роста малого, лет под тридцать, широкоплечего, с угреватым широким лицом, маленькими, чуть-чуть видными глазами и густою гривой волос на голове. Он был одет в светло-зеленый казинетовый казакин, наглухо застегнутый на крючки, сквозь которые была продернута серебряная цепочка с часами, которые он беспрестанно вынимал. На заплывшем лице его написано было тупое самодовольство и неизреченная животненная плотоядность. Он ловко расшаркнулся перед матушкой и подошел ей к ручке.

– А это мой Фомушка! – рекомендовала его тетенька, – только он один и помогает мне. Не знаю, как бы я и справилась без него с здешней вольницей!

Матушка чуть-чуть сконфузилась, но не отняла руки и даже поцеловала Фомушку в лоб, как этого требовал тогдашний этикет.

– Сестрица ржи наши хвалит, – обратилась тетенька к Фомушке, – поблагодари ее! – Фомушка снова расшаркался. – Вот бы тебе, сударка, такого же Фомушку найти! Уж такой слуга! такой слуга! на редкость!

Я не помню, как прошел обед; помню только, что кушанья были сытные и изготовленные из свежей провизии. Так как Савельцевы жили всеми оброшенные и никогда не ждали гостей, то у них не хранилось на погребе парадных блюд, захватанных лакейскими пальцами, и обед всякий день готовился незатейливый, но свежий.

Тетенька, по-видимому, была не скупа и усердно, даже с некоторою назойливостью, нас потчевала.

– Кушай! кушай! – понуждала она меня, – ишь ведь ты какой худой! в Малиновце-то, видно, не слишком подкармливают. Знаю я ваши обычаи! Кушай на здоровье! будешь больше кушать, и наука пойдет споре...

И затем, обращаясь к матушке, продолжала:

– А ты, сударыня, что по сторонам смотришь... кушай! Заехала, так не накормивши не отпущу! Знаю я, как ты дома из третьёводнишних остатков соусы выкраиваешь... слышала! Я хоть и в углу сижу, а все знаю, что на свете делается! Вот я нагряну когда-нибудь к вам, посмотрю, как вы там живете... богатеи! Что? испугалась!

Матушка действительно несколько изменилась в лице при одной перспективе будущего визита Анфисы Порфирьевны. Тут только, по-видимому, она окончательно убедилась, какую сделала ошибку, захавши в Овсецово.

– Ну, ну... не пугайся! небось, не приеду! Куда мне, оглашенной, к большим барам ездить... проживу и одна! – шутила тетенька, видя матушкино смущение, – живем мы здесь с Фомушкой в уголку, тихохонько, смиренхонько, никого нам не надобно! Гостей не зовем и сами в гости не ездим... некуда! А коли ненароком вспомнят добрые люди, милости просим! Вот только жеманниц смерть не люблю, прошу извинить.

Но в особенности понуждала она Фомушку:

– Ешь, Фомушка, ешь! Вишь ты, какой кряж вырос! есть куда хлеб-соль класть! Ешь!

На что Фомушка неизменно, слегка поглаживая себя по животу, отвечал:

– Наелся-с; неумоготу-с!

И таинственным урчанием подтверждал свой ответ.

– Ешьте, сударики, ешьте! – не умолкала тетенька. – Ты бы, сестрица, небось, на постоялом курицу черствую глодала, так уж, по крайности, хоть то у тебя в барышах, что приедешь ужо вечером в Заболотье, – ан курица-то на ужин пригодится!..

Тетушка задержала нас до пятого часа. Напрасно отпрашивалась матушка, ссылаясь, что лошади давно уже стоят у крыльца; напрасно указывала она на черную полосу, выглянувшую на краю горизонта и обещающую черную тучу прямо навстречу нам. Анфиса Порфирьевна упорно стояла на своем. После обеда, который подавался чрезвычайно медлительно, последовал кофей; потом надо было по-родственному побеседовать – наелись, напились, да сейчас уж и ехать! – потом посидеть на дорожку, потом Богу помолиться, перецеловаться...

– И куда только ты торопишься! – уговаривала тетенька, – успеешь еще насидеться в своем ненаглядном Заболотье! А знаешь ли что! кабы мое было это Заболотье, уж я бы... Не посмотрела бы я, что там мужики в синих кафтанах ходят, а бабы в штофных телогреях... я бы... Вот землицы там мало, не у чего людей занять, – ну, да я бы нашла занятие... А, впрочем, что мне тебя учить, ученого учить – только портить. Догадаешься и сама. Малиновец-то, покуда братец с сестрицами распорядились, грош давал, а теперь – золотое дно! Умница ты, это всякий скажет! Намеднись Аггей приезжал, яйца скупал, тальки, полотна, – спрашиваю его: «Куда отсюда поедешь?» – «К министеру», – говорит. Это он тебя министром называет. Да и подлинно – министр! Лёгко ли дело! Какую махинушку купила задаром. Чай, оброки-то уж набавила?

– Нет еще покуда!

– Набавляй, сударка, набавляй! нечего на них, на синикафтанников, смотреть! Чем больше их стрижешь, тем больше они обрастают! Набавляй!

Насилу мы убралась. Версты две ехала матушка молча, словно боялась, что тетенька услышит ее речи, но наконец разговорилась.

– Фомку видела? – спросила она Агашу.

– Как же, сударыня! В девичью перед обедом приходил, посидел.

– Какова халда! За одним столом с холопом обедать меня усадила! Да еще что!.. Вот, говорит, кабы и тебе такого же Фомушку... Нет уж, Анфиса Порфирьевна, покорно прошу извинить! калачом меня к себе вперед не заманите...

– Мне что, сударыня, сказывали. Сидит будто этот Фомка за столом с барыней, а старого барина, покойника-то, у Фомки за стулом с тарелкой заставят стоять...

– Неужто?

– Истинную правду говорю. А то начнут комедии представлять. Поставят старого барина на колени и заставят «барыню» петь. Он: «Сударыня-барыня, пожалуйста ручку!» – а она: «Прочь, прочь отойди, ручки недостойный!» Да рукой-то в зубы... А Фомка качается на стуле, разливается, хохочет...

– Вот так змея!

– Нехорошо у них; даже мне, рабе, страшно показалось. Ходит этот Фомка по двору, скверными словами ругается, кричит... А что, сударыня, слышала я, будто он ихний сын?

– Сын ли, другой ли кто – не разберешь. Только уж слуга покорная! По ночам в Заболотье буду ездить, чтоб не заглядывать к этой ведьме. Ну, а ты какую еще там девчонку у столба видел, сказывай! – обратилась матушка ко мне.

Я рассказал, Агаша, с своей стороны, подтвердила мой рассказ.

– Прибежала она в девичью, как полоумная, схватила корку хлеба... места живого на лице нет!

– Есть же на свете... – молвила матушка, выслушав меня, и, не докончив фразы, задумалась.

Может быть, в памяти ее мелькнуло нечто подходящее из ее собственной помещичьей практики. То есть не в точном смысле истязание, но нечто такое, что грубыми своими формами тоже нередко переходило в бесчеловечность.

Но, помолчав немного, матушка слегка зевнула, перекрестила рот и успокоилась. Вероятно, ей вспомнилась мудрая пословица: не нами началось, не нами и кончится... И достаточно.

Целых шесть верст мы ехали волоком, зыбучими песками, между двух стен высоких сосен. По лесу гулко разносился треск, производимый колесами нашего грузного экипажа. Лошади, преследуемые целой тучей оводов, шли шагом, таща коляску в упор, так что на переезд этих шести верст потребовалось больше часа. Узкая полоса неба, видневшаяся сквозь лесную чашу, блестела яркою синевою, хотя вдали уже погромыхивал гром. Несмотря на то, что было около шести часов, в воздухе стояла невыносимая духота от зноя и пыли, вздымаемой копытами лошадей.

Но когда мы выехали из лесу, картина изменилась. Туча уже расплзлась и, черная, грозная, медленно двигалась прямо на нас. В воздухе почуялась свежесть; по дороге вились крутящиеся ветерки, которые обыкновенно предшествуют грозе. Между тем до Заболотья оставалось еще не меньше двенадцати верст. Правда, что дорога тут шла твердым грунтом (за исключением двух-трех небольших болотцев с проложенными по ним изуродованными гатями), но в старину помещики берегли лошадей и ездили медленно, не больше семи верст в час, так что на переезд предстояло не менее полутора часа. Матушка серьезно обеспокоилась.

– Погоняй! погоняй! – крикнула она кучеру.

– Все равно не миновать, – ответил тот равнодушно.

– Нет, погоняй, погоняй!

Подняли у коляски фордек, и лошади побежали рысью. Мы миновали несколько деревень, и матушка неоднократно покушалась остановиться, чтоб переждать грозу. Но всякий раз надежда: авось пройдет! – ободряла ее. Сколько брани вылилось тут на голову тетеньки Анфисы Порфирьевны – этого ни в сказках сказать, ни пером описать.

Но, как ни усердствовал Алемпий, мы не миновали своей участи. Сначала раздались страшные удары грома, как будто прямо над нашими головами, сопровождаемые молнией, а за две версты от Заболотья разразился настоящий ливень.

– Погоняй! – кричала матушка в безотчетном страхе.

На этот раз лошадей погнали вскачь, и минут через десять мы уже были в Заболотье. Оно предстало перед нами в виде беспорядочной черной кучи, задернутой дождевой сетью.

Тетенькины слова сбылись: жареная курица пригодилась на ужин. Мы уже успели настолько проголодаться, что я даже не знаю, досталось ли что Агаше, кроме черного хлеба.

Здесь, я полагаю, будет уместно рассказать тетенькину историю, чтобы объяснить те загадочности, которыми полна была ее жизнь. Причем не лишним считаю напомнить, что все опи-

сываемое ниже происходило еще в первой четверти нынешнего столетия, даже почти в самом начале его.

Как я упомянул выше, Анфиса Порфирьевна была младшая из дочерей дедушки Порфирия Васильича и бабушки Надежды Гавриловны. В семье она была нелюбима за свою необыкновенную злобность, так что ее называли не иначе, как «Фиска-змея». Под этим названием известна она была и во всем околотке. Благодаря этой репутации она просидела в девках до тридцати лет, несмотря на то, что отец и мать, чтоб сбыть ее с рук, сулили за ней приданое, сравнительно более ценное, нежели за другими дочерьми. А именно то самое Овсецово, с которым я только что познакомил читателя.

Но в зрелых летах Бог послал ей судьбу в лице штабс-капитана Николая Абрамыча Савельцева.

Усадьба Савельцевых, Щучья-Заводь, находилась на берегу реки Вопли, как раз напротив Овсецова. Имение было небольшое, всего восемьдесят душ, и управлял им старик Абрам Семеныч Савельцев, единственный сын которого служил в полку. Старик был скуп, вел уединенную жизнь, ни сам ни к кому не ездил, ни к себе не принимал. Жестоким его нельзя было назвать, но он был необыкновенно изобретателен на выдумки по части отягощения крестьян (про него говорили, что он не мучит, а тигосит). Хотя земли у него было немного, всего десятин пятьсот (тут и леску, и болотца, и песочку), но он как-то ухитрялся отыскивать «занятия», так что крестьяне его почти не сходили с барщины. Зато земля была отлично обработана, и от осьмидесяти душ старик жил без нужды и даже, по слухам, успел скопить хороший капиталец.

Пользуясь бесконтрольностью помещичьей власти, чтоб «тигосить» крестьян, Абрам Семеныч в то же время был до омерзительности мелочен и блудлив. Воровал по ночам у крестьян в огородах овощи, загонял крестьянских кур, заставлял своих подручных украдкой стричь крестьянских овец, выдаивать коров и т. д. Случалось, что крестьяне ловили его с поличным, а ночью даже слегка бивали, но он на это не претендовал. Иногда, когда уж приставали чересчур вплотную, возвращал похищенное: «Ну, на! жри! заткни глотку!» – а назавтра опять принимался за прежнее. Полегоньку скапливал он сокровище, ничем не брезгуя и не обижаясь, что соседи гнушались им.

Но мало-помалу от мелочей он перешел и к крупным затеям. Воспользовавшись одною из народных переписей, он всех крестьян перечислил в дворовые. Затем отобрал у них избы, скот и землю, выстроил обок с усадьбой просторную казарму и поселил в ней новоиспеченных дворовых. Все это совершилось исподтишка и так внезапно, что никто и не ахнул. Крестьяне вздумали было жаловаться и даже отказывались работать, но очень скоро были усмирены простыми полицейскими мерами. Соседи не то иронически, не то с завистью говорили: «Вот так молодец! какую штуку удрал!» Но никто пальцем об палец не ударил, чтоб помочь крестьянам, ссылаясь на то, что подобные операции законом не воспрещались.

С тех пор в Щучьей-Заводи началась настоящая каторга. Все время дворовых, весь день, с утра до ночи, безраздельно принадлежал барину. Даже в праздники старик находил занятия около усадьбы, но зато кормил и одевал их – как? это вопрос особый – и заставлял по воскресеньям ходить к обедне. На последнем он в особенности настаивал, желая себя выказать в глазах начальства христианином и благопопечительным помещиком.

Хозяйство Савельцевых окончательно процвело. Обездолив крестьян, старик обработывал уже значительное количество земли, и доходы его росли с каждым годом. Смотря на него, и соседи стали задумываться, а многие начали даже ездить к нему под предлогом поучиться, а в сущности – в надежде занять денег. Но Абрам Семеныч, несмотря на предлагаемый высокий процент, наотрез всем отказывал.

– Какие, братик-сударик, у нищего деньги! – не говорил, а словно хныкал он, – сам еле-еле душу спасаю, да сына вот в полку содержу. И мужиков своих вынужден был в дворовые поверстать, а почему? – потому что нужда заставила, жить туго приходилось. Разве я не пони-

маю, что им, бедненьким, несладко, в казарме запершись, сидеть, да ничего не поделаешь. Своя рубашка к телу ближе. Теперь у меня и ржица залишняя есть, и овсеца найдется. Продам, – вот на чай с сахаром и будет... Дворянин-с; без чаю тоже стыдно! Так-то, братик-сударик!

В довершение Савельцев был сластолюбив и содержал у себя целый гарем, во главе которого стояла дебелая, кровь с молоком, лет под тридцать, экономка Улита, мужняя жена, которую старик оттягал у собственного мужика.

Улита домовничала в Щучьей-Заводи и имела на барина огромное влияние. Носились слухи, что и стариковы деньги, в виде ломбардных билетов, на имя неизвестного, переходят к ней. Тем не менее вольной он ей не давал – боялся, что она бросит его, – а выпустил на волю двоих ее сыновей-подростков и поместил их в ученье в Москву.

С сыном он жил не в ладах и помогал ему очень скупно. С своей стороны, и сын отвечал ему полной холодностью и в особенности точил зубы на Улиту.

– Придет и мое времечко, я из нее кровь выпью, жилы повытяну! – грозился он заранее.

Николай Савельцев пользовался в полку нехорошою репутацией. Он принадлежал к той породе людей, про которых говорят: звери! Был без меры жесток с солдатами, и, что всего важнее, жестокость его не имела «воспитательного» характера, а проявлялась совсем беспричинно. В то время в военной среде жестокое обращение не представлялось чем-нибудь ненормальным; ручные побои, палка, шпицрутены так и сыпались градом, но требовалось, чтоб эти карательные-воспитательные меры предпринимались с толком и «за дело». Савельцев же увечил *без пути*. Сверх того, он не имел понятия об офицерской чести. Напивался пьян и в пьяном виде дебоширствовал; заведывая ротным хозяйством, людей содержал дурно и был нечист на руку. Встречались, конечно, и другие, которые в этом смысле не клали охулки на руку, но опять-таки они делали это умненько, с толком (такой образ действия в старину назывался «благоразумной экономией»), а не без пути, как Савельцев.

Однажды зимой молодой Савельцев приехал в побывку к отцу в Щучью-Заводь. Осмотрелся с недельку и затем, узнавши, что по соседству, в семье Затрапезных, имеется девица-невеста, которой предназначено в приданое Овсецово, явился и в Малиновец.

Несмотря на зазорную репутацию, предшествовавшую молодому соседу, и дедушка и бабушка приняли его радушно. Они чутьем догадались, что он приехал свататься, но, вероятно, надеялись, что Фиска-змея не даст себя в обиду, и не особенно тревожились доходившими до них слухами о свирепом нраве жениха. Дедушка даже счел приличным предупредить молодого человека.

– Ты смотри в оба! – сказал он, – ты, сказывают, лих, да и она у нас нещечко!

На что Савельцев совершенно добродушно ответил:

– Не беспокойтесь! будет шелковая!

А бабушка, с своей стороны, в том же духе предупреждала Фисочку:

– Смотри, Фиска! Ты лиха, а твой Николушка еще того лише. Как бы он под пьяную руку тебя не зарубил!

Но и Фисочка спокойно ответила:

– Ничего, матушка, я на себя надеюсь! упетается! по струнке ходить будет!

Затем, поговоривши о том, кто кого лише и кто кого прежде поедом съест, молодых обручили, а месяца через полтора и повенчали. Савельцев увез жену в полк, и начали молодые жить да поживать.

Года четыре, до самой смерти отца, водил Николай Абрамыч жену за полком; и как ни злонравна была сама по себе Анфиса Порфирьевна, но тут она впервые узнала, до чего может доходить настоящая человеческая свирепость. Муж ее оказался не истязателем, а палачом в полном смысле этого слова. С утра пьяный и разъяренный, он способен был убить, засесть, зарыть ее живую в могилу.

В качестве особы женского пола она ждала совсем не того. Она думала, что дело ограничится щипками, тычками и бранью, на которые она и сама сумела бы ответить. Но вышло нечто посерьезнее: в перспективе ежеминутно мелькало увечье, а чего доброго, и смерть. К тому же до Савельцева дошло, что жена его еще в девушках имела любовную историю и даже будто бы родила сына. Это послужило исходным пунктом для определения его будущих отношений к жене. Ни один шаг не проходил ей даром, ни одного дня не проходило без того, чтобы муж не бил ее смертельным боем. Случалось даже, что он призывал денщика Семена, коренастого и сильного инородца, и приказывал бить нагайкой полуобнаженную женщину. Не раз Анфиса Порфирьевна, окровавленная, выбегала по ночам (когда, по преимуществу, производились экзекуции над нею) на улицу, крича караул, но ротный штаб, во главе которого стоял Савельцев, квартировал в глухой деревне, и на крики ее никто не обращал внимания. Ей сделалось страшно. Впереди не виделось ни помощи, ни конца мучениям; она смирилась.

Разумеется, смирилась наружно, запечатлевая в своей памяти всякую нанесенную обиду и смутно на что-то надеясь. Мало-помалу в ее сердце скопилась такая громадная жажда мести, которая, независимо от мужниных истязаний, вконец измучила ее. С одной стороны, она сознавала зыбкость своих надежд; с другой, воображение так живо рисовало картины пыток и истязаний, которые она обещала себе осуществить над мужем, как только случай развяжет ей руки, что она забывала ужасную действительность и всем существом своим переносилась в вожденное будущее. Кто знает, что может случиться! Муж может заболеть; пьянство его может кончиться параличом, который прикует его к одру, недвижимого, беспомощного. Не раз ведь бывало, что с ним случались припадки вроде столбняка, из которых, впрочем, выносливая его натура постоянно выходила победительницею. Но, может быть, наступит минута, когда припадки разрешатся чем-нибудь и более серьезным. И вот тогда...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.